И. Синицын

НЕХОЖЕНЫМИ ТРОПАМИ

Калужское книжное издательство,

1958

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Нехожеными тропами	**3**
Новый директор	**13**
Возвращение	**42**
Человек на посту	**116**
Куда «кривая» вывезла	**124**
Волковы из Красной звезды	**133**
Радость	**143**
Садам цвести	**155**

От оцифровщика. Книга содержит очерки сельской жизни Калужской обл. в первые послевоенные годы. Во взгляде автора — Ивана Семёновича Синицына (11.02.1917 – 26.11.1998) — участника ВОВ, а по её окончании — журналиста, внимательный взгляд художника подмечает и с честностью ветерана отражает многие подробности послевоенной сельской жизни селений и колхозов родной ему Калужской области. При всём хорошо внешне выраженном «партийном взгляде» и «партийном толковании» этих подробностей, обязательном подборе «хорошего конца» описываемых событий (иногда, похоже, по принципу «не пришей кобыле хвост», но без чего книга, очевидно, не имела надежды быть в обозримое время обнародованной) проглядывает, с одной стороны, большая неудовлетворённость многими происходящими на селе того времени событиями и, нередко, качеством партийного водительства переустройством сельской жизни, с другой — глубокая вера в будущее страны и в силы её народа, в то, что все препятствия, если за них взяться дружно, разумно и всем миром, будут преодолены.

Такое сочетание трезвого, мудрого взгляда на жизнь и веры в лучшее будущее, видимо, было одним из тех обстоятельств, которые позже привели автора к изучению опыта последователей А.С. Макаренко (сначала в самой Калужской обл., а затем – и по стране в целом), содержательно точному и художественно-выразительному отражению и продвижению этого опыта через доступные автору средства печати, затем — и радиовещания.

Книга может быть интересна и полезна любителям и знатокам социологии, педагогики, художественного слова, сельской жизни, истории России, тем, кто думает стать фермерами.

N.B. К возможным недостаткам (накладкам) чтения книги можно отнести то, что почти все её главные положительные действующие лица — мужчины курят (как и сам автор).

P.S. В электронном виде распределение текста по страницам сохранено с точностью до нескольких слов на границах страниц. Восстановлена буква «ё». Содержание для удобства перенесено со с. 172 на с. 2 (в бумажном издании была пустая).

М., 2016

НЕХОЖЕНЫМИ ТРОПАМИ

Люблю свои бесконечные корреспондентские встречи с людьми. Каждый настоящий человек у нас, что бы он ни делал, идёт нехоженой тропой, прокладывая путь вперёд, и в знакомстве с ним всегда таятся радости больших и маленьких открытий.

Едешь в очередную командировку — будто собираешься читать невыдуманную книгу о новой жизни, о неизведанных ещё силах человеческих душ, устремлённых за светлой мечтой. И не так важно, кто это будет сегодня: председатель колхоза, думающий и образованный человек, малограмотная ли, но мудрая колхозница, партийный работник, тракторист, библиотекарь, садовод, учитель — с каждым сами собою находятся общие интересы, радости и печали, общий язык. Однажды познакомившись с ними, о них уже не забываешь, к ним всегда хочется заехать снова.

Есть среди них и такие, с кем хорошо побыть даже молча, слушая их речи-думы.

О таком человеке я вспомнил как-то, пробираясь в Медынь. Он жил недалеко в стороне от моей дороги — километрах в пяти. На этот раз я шёл пешком, заходя то в один, то в другой колхоз. «Пять вёрст — не крюк: заверну и к Кириллу Петровичу».

Стоял июль. День был ясный, просторный. Такие дни часто представляем себе, вспоминая наше тихое российское лето. Белобокие облака, наклубившись вволю, стали смирными и отдыхали в вышине. Жаворонки, кузнечики заливались так дружно и непрерывно, что ухо уже не улавливало их концертов, и ему чудилась вокруг безмолвная полуденная тишь. Изредка, будто ударившись о певучую струну, взвывал около уха овод и тут

же замирал, пропадая в стороне. В воздухе плыли сладкие запахи зреющих колосьев и скошенных лугов.

Шёл я напрямик через луговину, на которой уже стояли опрятно причёсанные свежие стога сена. Думал о Петровиче и всё отчётливее вспоминал его.

Мы не виделись с ним больше года, с тех пор, как я написал о нём в газете. То был рассказ о рядовом колхознике Кирилле Сафронове, человеке, который никогда не унывал и выбирал себе самую тяжёлую работу.

Колхоз у них заплошал от войны, хлеб не родился, люди норовили уйти либо на бумажную фабрику, либо на каменные карьеры, а этот крупный и весёлый человек никуда не уходил. Он работал, не спрашивая платы, будто знал никому неведомый секрет скорого вознаграждения. И работал он по-особому — искал новые, нехоженые тропы, хотя и часто набивал себе на них «синяки и шишки». Людям при этом казалось, что ушибы только развлекают его — он рассказывал о них охотно и весело, как умеют признаваться в своих неудачах только люди, сильные духом и обладающие добрым зарядом юмора. К слову, Петрович любил сказать, что ежели искать здоровый дух, то «у нас его хватит на двух».

На этот счёт мужики вспоминали многие истории, но особенно любили вот какую.

С фронтовых времён донимала Кирилла какая-то презлющая «холера», которая засела «в нутре». Иногда она пыталась свалить его с ног, но он только подсмеивался над нею в душе и покрякивал. Один раз она всё же загнала его в больницу. Крупный человек с пережаренным на солнце лицом лежал в палате, морщился, поворачиваясь на другой бок, но тут же лукаво подмигивал своим новым дружкам-приятелям. Они восторженно хмыкали, презлющая «холера» унималась, будто сконфузившись, а Петрович уже мурлыкал себе под нос:

А но-чка темы-ная-а бы-ла-а...

В день операции дружки собрались около двери в операционную, готовые со скорбными лицами проводить Петровича в страшный зал и ждать, пока его вынесут обратно — живого или мёртвого. Среди белоснежных сестёр он шёл в коротком халате «своим ходом» — большой, небритый и хмурый. Около двери увидел постные физиономии дружков, придержал шаг. Потом расправил плечи, не поморщившись от боли, и потихоньку

подмигнул — мол, не робей, братцы, мы её сейчас, холеру, к ногтю!

«Братцы» видели, как сквозь хмурую маску опять проглянул вечно непобедимый Кирилл Петрович с весёлыми чёртиками в глазах, и заулыбались на прощанье.

Его не выносили долго. Дружки поминутно поглядывали на часы, на закрытую белую дверь, на зеркальную табличку с пугающей надписью «Операционная». Наконец, за дверью послышалось тяжёлое шарканье ног, она отворилась, кто-то поспешно стал отворять другую. В проходе виднелись понурые сёстры с носилками в руках. Часто переступая, они вынесли свою грузную ношу на свет. Человек на носилках был накрыт простыней по самые глаза. Они ввалились, но один был открыт, искал дружков и... смеялся!

В палате на койке, когда ушли сёстры, Петрович поморгал, шмыгнул носом. Дружки вопросительно-тревожно глядели на него. «Жив курилка»! — доложил он им глазами, стараясь не шевелиться, а брови насмешливо поднялись, и дружки опять услышали знакомое:

А ночка темы-ная-а бы-ла-а...

Не из простеньких мужичок Кирилл Петрович. Крупный, рыжеватый с круглым лицом и головой, остриженный по-солдатски — под машинку, он любил волю, простор — это его стихия. Чубов, бород и прочих украшений недолюбливал — мешали они ему.

По лугам и полям любил ходить в лёгкой ситцевой рубашке без пояса, без шапки и босиком, «разумши», как он говорил, — вольным ровным шагом сеятеля. Ему радостно было чувствовать тёплую землю под босой ногой и на ходу размахивать руками широко и неторопливо, как большие часы маятником. Идёт лукаво и задумчиво прищурив свои добродушно-озорные глаза, чуть припухшие над бровями, и смотрит высоко вдаль, будто вся земля, которую он видит, согласилась слушаться его, а ему ничего не стоит промахать по ней сейчас до самого горизонта, если не подальше.

Но, надо думать, не одно это держало его в захудалом колхозе и заставляло искать там потруднее дела, не спрашивая платы. Сам он ничего не объяснял, а только говорил, что с нынешней наукой «сильно можно тряхнуть матушку-природу», заставить её быть добрее к человеку. Конечно, неподкованному скользко бороться с

нею — в колхозе ни агронома, ни другой какой-нибудь учёной силы не было. Но он всё-таки лез в драку, а «матушка» мудрила над ним, не давалась и норовила потрясти самого. И трясла, да не единожды!

Первый раз ему попало, что называется, не за понюх табаку. Сидели, сидели правленцы, почёсывались, а когда сентябрь ввалился в ворота — хватились: «Ступай, Петрович, завтра сеять». А семена тогда ещё рассевали «пятирядной сеялкой» — правой рукой, не хватало машин-то после войны. Подумал-подумал бывалый солдат, почесал, как водится, затылок, а, видно, делать нечего — надо идти. Взял дружка своего—Фёдора Панкратова — пошли. Земля уже холодная была, по утрам заморозки.

Сеяли неделю, сеяли другую... Ноги и плечи как свинцом наливались — пудишек-то порядочно перенянчишь, горстями раскидаешь за день. Но это — ладно. Страшно становилось — вот что! Оглянутся дружки: пора бы на дальних участках всходам быть — нету. Голая земля. Сеяли-сеяли, кидали-кидали зерно, мешков сто раскидали — как в море высыпали. Нету! Кого хочешь робость возьмёт. Дней через несколько кое-где розовенькие иголочки взошли. Весной зеленя были реденькие, чахлые.

Осерчал Петрович и так сказал председателю:

—Если нынешним летом ты меня в половине августа сеять не пошлёшь — позже не пойду — сам ступай.

А оно тогда и вправду хоть самому председателю иди: кроме Петровича и Фёдора в колхозе мужиков, считай, и не было; кузнец ещё был да инвалидов четверо. А женщины сеяли неважно. Так что скоро убедил Петрович председателя. Ну уж зато дождался сева, как праздника. Раньше всех начали.

—Ух, мать честная! — вспоминал он потом, азартно тряся головой. — Вышли мы без шапок, разумши. Тихо, земля тёплая, мягкая, аж ноге радостно. Идёшь, оглянешься, а рожь чуть не следом за нами всходит...»

Разохотились гвардейцы — держись, матушка! Что ж, покоряется! Она бы и совсем покорилась, кабы всю науку знать — какое обхождение с ней требуется. Но всю-то откуда ж Петрович узнал бы! До этой поры по-простому делалось: навозу не жалей, да вовремя сей. Но это ж

только азы. А особа-то она привередливая: промахнёшься — сама не подскажет, хватишься, да уж
поздно. Мотай, Кирилл, на ус да будь умней другой раз.

Правда, слушал зимой районного агронома, вроде всё запоминал: подкормка, весеннее боронование. Женщинам даже объяснял, которые сомневались, не повредит ли, дескать, всходы борона? Оно с непривычки действительно кажется, что повредит, а на самом деле — только польза. Корка ведь! Корням душно под нею, томно... Петрович шевелил пальцами, стараясь изобразить множество корневых нитей, целые сети живых волосков, которые спутались под коркой обширного поля. Они шевелятся, ползут во все стороны, присасываются к иссыхающей почве, ищут соков и воздуха. Им тяжко.

— Тут им — борону, — двигал Петрович кулаком вперёд, тараща глаза. — Как взрыхлил, как дал им дыхание, удобрений подбавил, ну и пошла-а!

Но на деле она пошла, да не туда — рожь-то. Сыпали ей гвардейцы подкормку без разбора, старались, аж рубашки к лопаткам прилипали. Как поднялась она — туча! А потом дождь прошёл — и полегла. До налива ещё полегла.

Опять рассерчал Петрович, но теперь уж не на председателя. Подкузьмила-таки старая! Нашла слабинку. И так и этак прикидывал: чем же ей не угодили? Надел новую рубаху — пошёл к агроному.

— Без калийной соли поляжет,— убеждённо подтвердил тот. — Это обязательно. Надо было вам и калийной припасти.

— Да шут же её знал! Всё-то за один раз нешто упомнишь! Ну, ладно, за битого двух небитых дают.

Осенью опять гвардейцы шагали по пашням, подталкивая животами севалки. А весной вставали часа в три. Выйдут темно, лужи замёрзли, ледок хрустит под ногами. Зайдут, разбудят Петьку Филатова, парнишка покряхтит, протирая глаза, но глянет на Петровича и сразу расправится, станет бравым и взрослым. Втроём пудов двести рассеют за утро. Петрович покрикивал старухам:

—Девчата, помельче селитру толките, куда это такие оковалки!

«Девчата» ворчали в ответ, но не громко.

Как-то утром по дороге шли знакомые карамышевские мужики — Данила с Алёшкой. У них там, в Карамышах, агротехника тогда была ещё дедова, а хлебушек колхозники по большей части добывали в пригородных

магазинах. И эти «витязи», видно, туда же и за тем же держали путь. Остановились, поглядели, крикнули:

— Опять колдуешь, Кирилл Петрович?

Бодрости и юмора Петровичу не занимать — ответил:

— Ваша работёнка, конечно, не такая пыльная.

— Ну-ну, валяй, — скисли остряки. — Только сеять вы каждый год сеете, а «жать» тоже норовите в хлебном ларьке.

Обычно Петрович умел ответить так, что обидная шутка отскакивала от него. А тут пришлось просто сделать вид, что ничего не расслышал. Но когда ребята скрылись за бугром, он ещё раз вернулся к дороге и пошёл вдоль неё, рассевая добавочную порцию селитры. Рассеял, поглядел вслед Даниле с Алёшкой своими припухшими глазами и погрозил беззлобно:

— Ну, я на вас отыграюсь!

За эту весну он на всех отыгрывался: и на природе, и на посевах, и на самом себе. Девяносто шесть гектаров — это девятьсот шестьдесят тысяч квадратных метров, проще сказать — 320-километровая полоса в три метра шириной. Вот эту полоску за весну они втроём трижды прошли с гружёными севалками. Петьке Филатову тяжелей всех было — пыхтит парнишка, а идёт, каждый уголок обсеет.

«Ну, уж на этот раз всё ей дали, — размышлял Петрович, — и влагу, и жир, и крепость». Первый раз прошли с аммиачной селитрой — рожь посинела, как лук стала. Прошли второй — тучей подниматься начала, узнать нельзя. Дали ещё раз — на, вволю! «Только бы не пересолить, ночка тёмная!» — с опаской почёсывал свою круглую рыжую голову Петрович.

Насытилась матушка. Кирилл и сам видел, что теперь насытилась. Стояла — стена стеной, мышке пробежать негде.

Чем это кончилось, я знал только понаслышке, и мне уже не терпелось скорее снова увидеть Кирилла Петровича.

На краю луга колхозники стоговали сено. Время у них, видно, подошло к обеду, они расходились,— кто под стог, кто под куст. Женщина в белом платке потопталась на краю стога, прицеливаясь, куда ей слезть, потом глянула на небо, на далёкое тёмное облако и пронзительно закричала:

— Эй, бабы, погодите-ка расходиться-то — вон замолаживает!

Несколько человек с недоверием оглянулись на неё, потом на облако. Рядом с женщиной на стогу стоял стриженый мужчина в рубашке, обсыпанный трухой. Он топтался, глядя себе под ноги, и говорил негромко:

— Ну-ка, давайте вот сюда, в середину бросайте — середина у нас плохо набита.

Я узнал его: Петрович!

Все молча вернулись, и большие косматые охапки сена опять полетели на стог, на Петровича и женщину в белом платке.

Нигде так дружно и весело люди не работают, как на сенокосе. Один сказал — другие отозвались тут же, кто-то взялся за грабли — и все за ним, и пошло — нипочём не устоишь в стороне. Мне попались чьи-то вилы, в охотку я стал замахивать сено на стог, крикнув приветствие Кириллу Петровичу. Круглое рыжеватое лицо его, стриженая голова, обсыпанная сеном, выглядели что-то сердито. Но распоясанный, в лёгкой рубашке, он по-прежнему был ловок и ухватист.

— Донял этот дождь! — заговорил рядом со мной парень, тоже показавшийся мне знакомым и, кажется, узнавший меня. Майка на нём взмокла, сенная пыль налипла на волоски потных рук и шеи. — Задерживает он нас маленько — хлеба уже настигают.

— И настигнут?

Парень только поплевал на руки, лихо подмигнул и, крякнув, взял на вилы чуть не полвоза сена.

— Поднатужимся, — отозвался за него со стога знакомый густой бас Петровича. — Этот вот к вечеру готов будет.

— И другой начнём, — словно общее решение объявил парень.

После аврала мы шли все рядом под куст, на котором висели пиджаки, узелочки, корзинки с едой. Кирилл Петрович шагал рядом со мной своей вольной походкой и вытряхивал из-за мокрой рубашки колкое сено. Лицо у него почернело от солнца, щетина на щёках и круглом подбородке придавала лицу добродушно-диковатый вид. Парень в мокрой майке не отходил от нас.

— Тонн восемь нынче заготовочек махнём, — объявил он, видимо, специально для газеты.

— Ты там был, на тех лугах? — не оборачиваясь к нему, спросил Кирилл Петрович.

— Не был, а видал: четыре подводы туда пошло.

— А сено там готово?

—Долго ли его там готовить! — Парню нравилось выглядеть осведомлённым в таких важных делах. — Растрясут, раз-раз — накладывай и пошёл. Оно там почти сухое.

Мы плюхнулись под куст.

— А ей ветер сейчас нипочём, — говорил, должно быть, о туче худощавый старик с чёрной, ещё не отросшей как следует бородкой. — Нипочём! Она ведь там во! — закрутил он кулак вокруг кулака, — что делает, в-во! У них там свой ветер. А как же, скопление-то какое! Это до Ильина дня. После Ильина — тогда они рыхлые бывают, тогда по ветру начинают ходить...

— А как по-вашему, — крикнул Петрович, стоя на коленях и нарезая хлеб, — эти дожди — хорошо или плохо? — Глаза его хитровато улыбались. Он ждал, перестав резать. Старик ответил, что хорошо. — То-то! — похвалил его Петрович. — Раньше за такие дожди попов пьяными поили. Недели две, бывало, без просыпу за такие дожди... Для ярового, для картошки — как же!

За кустом старик вспоминал какую-то помещицу:

— Бывало, столько навозу скупает — ужас! Ну, враг — не человек была. Это поискать такую, чёрта. Солома, бывало, пятилетняя, десятилетняя гниёт — нипочём мужикам не даст. Лучше пусть пропадает.

—Зато управляющие нажились, — откликнулся Петрович.— Дома какие повыстроили! Она ведь в последнее время из ума уж выживала. Илюшка-то, он ить денщиком у неё был и вроде за сторожа. Во-он — Илюшка, около пруда-то там... Бывало, спрашивает (басом говорила) :

—И-илья! А завтракала я нынче, аль нет ещё? — Ну, что ж тут с неё спросить?..

Петрович резал хлеб, сало и говорил о зловредной барыне так мягко, будто речь шла о несмышлёном ребёнке, которого он, Кирилл Сафронов, большой и сильный человек, не хотел занимать ни словом, ни делом — есть ему с кем схватиться!

За кустом продолжали ещё что-то вспоминать про старину. Кирилл Петрович усмехнулся, крикнул:

— Ты что, ай уж отжил свой век — всё назад глядишь?

Отдыхая, Петрович лежал на боку, глядел куда-то через свои ноги, жевал хлеб с луком и салом и рассказывал, как попугала его природа-матушка прошлым летом.

Клали они стог. А сено было молодое, жирное. Кирилл Петрович поглядел — вроде сухое. Однако сказал:

— Давайте, на всякий случай, присолим... Отволгнет оно.

Присолили, всё честь честью. Как-то глянул Петрович в окно — ему из окна хорошо те луга видны — мать честная! Пар идёт из стога. «Ну, — подумал, — натворил делов!» Подошёл к стогу, а он ма-аленький стал, маленький. И уже перестаёт «гореть»-то. Спрессовался, стало быть, крепко. «Ладно, — решил Петрович, — пусть так и остаётся — испытаю, что будет». А сам — ни слова никому. — Зима легла. Давайте, — говорит, — с этого стога начинать». Поглядел — сено вроде хорошее, только что цвет бурый. Дали коровам — едят за милую душу.

—А сейчас вот читаю газету, — хохочет Кирилл Петрович. — «Бурое сено». Оказывается, так и надо делать. Ну, что ж я раньше-то не знал!

Вечером мы шли к нему домой. Просторные сандалии хлопали у Петровича на ногах. Одной рукой он держал вилы на плече, а в другой бережно и неловко сжимал толстыми корявыми пальцами букетик земляники, нарванной внучатам где-то на кочках.

—Что ж, Данила с Алёшкой, — опросил я, — не приходили с повинной головой?

Кирилл Петрович виновато улыбнулся, сожалея, видимо, что не сможет ответить так весело, как положено победителю, и сказал негромко:

— Были... Сперва мне колхозники рассказывали: «Ходят, мол, твои карамышевские «крестники» по дороге, останавливаются и все головами качают». Ну, надо думать! Двадцать три центнера с гектара. Закачаешь! Потом, гляжу, идут, издали ещё кричат:

—Ну, брат, Петрович, хо-ро-ша-а.

Кирилл Петрович ещё сбавил тон, сказал совсем застенчиво:

— Ну, я тут как-то... тово... Не хотел старое поминать. Гордиться мне вроде было неловко. Говорю: хорошая рожь. Бывает, говорю, ещё лучше, но эта тоже ничего.

Было уж темно, когда мы вошли в деревню. Маленькой избушки Софроновых, затерявшейся в огороде, я не увидел. От неё шагнул на улицу просторный, но ещё не отделанный дом.

—Ссуду брали? — спросил я.

— Нет, обошлись так, — ответил Петрович и объяснил: — Крепнет дерево, крепнут и сучья.

После ужина он постелил около дома на сене, слегка развалив копну, и мы легли. Сено шуршало под головой. Запах нашего пота и душистого сена сливался в одно, возбуждая ощущение вечно здорового и крепкого трудового бытия. Хотелось вытянуться, смотреть на звёзды и думать. Петрович тоже не сразу заснул.

— Трудное время пережили, — заговорил он, будто читая по звёздам. — Трудное... Всё, бывало, думаешь: «Нуждишка проклятая, как нам поскорей спихнуть тебя с шеи долой?»

Он задумался, глядя на звёзды.

— Крепнет дерево... — продолжал размышлять вслух. Голос его приобрёл дремотную расслабленность. — Этого и надо было ждать. Не нынче, так завтра. Никак не могло быть иначе...

Помолчал, добавил:

—Всё можно одолеть. Трудность любую... Можно* Только иди смело и знай, что твоя дорога — верная. Смело иди!..

Кондрово 1949 г.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР

1.

Снегу было ещё мало, но морозы уже крепко заковали ухабистую, изуродованную за осень дорогу. Местами на ней торчали гребни окаменевшей и запорошенной снегом грязи. Грузовик без конца встряхивало, толкало в стороны, и у инженеров, которые сидели в кузове, уже давно ныли руки, уставшие хвататься за борты.

Оба инженера были тепло одеты, и всё-таки Аркадий Андреевич в последние часы пути всё чаще спрашивал их, высовываясь из кабины:

— Замёрзли?

— Пустяки! — храбро отзывались из кузова.— Давай, нажимай!

Снарядились они, пожалуй, чересчур капитально, и если бы сельскому жителю довелось видеть их сборы, он едва ли удержался бы от улыбки. Молодой инженер Виталий Пилипчук уже ничем не напоминал коренного москвича. В большом овчинном полушубке, подпоясанном офицерским ремнём со звездой, в валенках и меховой шапке, из-под которой не видно было его длинных полос, он определённо походил на участника полярной экспедиции.

Но и в этой немножко преувеличенной капитальности, и в бравом возгласе «Пустяки!» Аркадий Андреевич улавливал что-то очень уверенное, обдуманное и в семьях, и на заводе, и решённое всерьёз.

То же самое он чувствовал и в себе. Где-то далеко позади была теперь Москва, которую он оставил, может быть, навсегда, и где-то уже близко должно показаться село Галкино, в котором ему предстоит жить и работать. Огромный сборочный цех завода, куда он пришёл совсем молодым из института и с которым вчера простился,

будучи уже седым, квартира на Кировской, шумный поток машин на улицах, ощущение давно устоявшейся жизни, — всё это было теперь там, позади. А здесь, где-то недалеко от Калуги, его ждёт, как говорили в Москве, в Ленинградском райкоме, Галкинская машинно-тракторная станция, ждёт новое дело, которое принято считать очень сложным и ответственным. Да, это очень трудно, сложно, но выполнимо. Он знает, в каких муках рождались наши первые тракторы и самолёты! Теперь об этом вспоминается так, как, может быть, вспоминает инженер свою студенческую дипломную работу.

Аркадий Андреевич чувствовал в себе добрую силу, которой хотелось дать хороший ход. Он тоже думал, что в сельское хозяйство надо бы послать побольше людей с надёжным опытом организаторской работы, людей самой высокой культуры. Об этом он разговаривал с колхозниками, когда бывал в отпуске в деревне, об этом размышлял, когда читал в газетах о колхозах и МТС.

В свете фар показались белые кирпичные здания, должно быть, какого-то бывшего имения, обширный липовый парк, двор у дороги, загромождённый машинами. В дальнем углу темнели, возвышаясь, корпуса комбайнов, ближе виднелись силуэты колёсных и гусеничных тракторов, вмёрзшие в землю плуги и культиваторы.

Машина остановилась против белых домов. Была глубокая декабрьская ночь. Ветер шумел в верхушках старых лип.

Инженеры спрыгнули на землю, Аркадий Андреевич Лонь вышел из кабины.

Вот они и приехали — три посланца большого московского завода.

Одинокая фигура в тулупе шла им навстречу от магазина.

— Не наши, кажись, — проговорила она стариковским голосом.

— Да нет, пожалуй, уже ваши, — ответили ей.

Дед оглядел в полумраке машину, московские номера на её бортах и после долгих уговоров пошёл будить директора.

Через час, расставив в просторной избе бабки Матрёны купленные только вчера в Москве раскладные алюминиевые кровати, инженеры крепко спали.

Так началась их жизнь на новом месте.

2.

Зона Галкинской МТС организована очень неудобно. Угра делит её на две половины. Четыре колхоза на той стороне, пять — на этой. Пятый — «Светлый путь» — словно на острове в излучине Угры; километров за сорок от усадьбы приходится гонять туда громоздкие машины по бездорожью через соседний Юхновский район. Усадьбу эту какой-то мудрец расположил на самом краю зоны.

Осенью, когда техника стягивается к мастерским, на угорских паромах начинается горячка. На паром трактор может въехать только без прицепных орудий, а их приходится потом вкатывать на руках. От длинных путей по лесным дорогам достаётся и комбайнам, и сеялкам, и культиваторам.

Приходит весна; сев начинается. Как возить горючее на заугорские поля через разлившуюся реку?

Колхозы этой зоны со времён войны называют малолюдными. Есть тут артели, в которых живут и работают одни престарелые. Только по большим праздникам, когда съезжается домой молодёжь из Кондрова, из Калуги, на сельских улицах становится оживлённее. За зимний день пять-шесть старушек нагрузят десяток возов навоза — это уже событие. Тысячи гектаров земли тринадцать лет не видели удобрений и, понятно, почти ничего не родят.

Зона машинно-тракторной станции... Она простиралась на несколько десятков километров, и Лонь воспринимал её как единое большое и запущенное хозяйство, которое надо приводить в «божеский вид». Две недели он пропадал в дальних колхозах и всматривался во всё с тем задумчивым спокойствием, с каким инженеры решают сложные технические задачи.

Это спокойствие, хранившее большую осознанную силу, казалось, нашло себе очень удобный приют в его плотной, тепло одетой фигуре. И сам он, должно быть, необыкновенно удобно, уютно чувствовал себя в простой рыжей шапке-ушанке, надвинутой на голову до самых бровей, в недорогом пальто с таким же рыжим, как шапка, воротником и в новых валенках, в которые непривычно были заправлены отутюженные брюки в полосочку, в каких он каждый день ездил в Москве на завод.

Лицо его, тоже плотное, без морщин, с коротким носом, тугими губами, хорошим сильным подбородком, словно

осыпанным серебристым песком, как будто отдыхало в этом уюте.

Он ходил по деревням, по фермам, заглядывал в избы, амбары, клубы, и по серым глазам его, в которых выражалось то изумление, то озабоченность, то добрая радость, было видно, что этот плотный сосредоточенный человек не отдыхает — работает. Всё было на виду: худые, заткнутые соломой скотные дворы, коровы, сгорбившиеся и покрытые инеем, бригадиры, ходившие под хмельком из одной избы в другую.

В одном заугорском колхозе он остановился как-то около фермы, свободно опустив руки в карманы пальто, и минут пять стоял поражённый. На лютом морозе, будто совсем не замечая холода, доярка доставала с 20-метровой глубины колодца, наверное, уже пятидесятое ведро воды. Без варежек, в телогрейке, она быстро работала руками, перебирая верёвку, и, казалось, совсем не чувствовала неудобства и тяжести своего труда.

«Журавля даже нет!» — изумился про себя Лонь. Ему сразу вспомнились другие фермы, где колхозницы на руках вытаскивают пласты тяжёлого удушливого навоза, на себе носят и сено, и солому. Нигде он ещё не видел, чтобы женщины так просто и смело брались за самую тяжёлую, подчас изнурительную работу и чтобы этот неженский, по своей тяжести, труд вот этак спорился у них в руках. «Да ведь это же героические люди!» — с суровым изумлением думал он, глядя на разрумянившуюся у колодца женщину.

Он нашёл заведующего фермой и попросил собрать доярок. Женщины подходили, неторопливо оглядывая незнакомого человека, его крупное волевое лицо, подбородок с ямкой, седеющие брови, и сдержанно здоровались.

Это были люди, жизнь которых проходила в многолетней борьбе с трудностями, с нехватками, люди, которых не слишком баловало своими заботами и вниманием колхозное начальство. Лонь видел это по их мужественным озабоченным лицам, по их натруженным рукам, по глазам, в которых проглядывало какое-то вопросительное выражение. Он знал, что они работали не за плату и не за страх — какая-то неугасимая вера жила в них, несмотря ни на что, и почему-то чувствовал себя большим должником перед ними.

Я смотрю на ваш труд, — начал он с озабоченной суровостью, ответив на приветствия и назвав себя. — Это же героизм, честное слово. Но скажите, неужели ещё никому не приходило в голову как-то облегчить это дело, механизировать трудоёмкие процессы?..

Над головами вспорхнул шутливый говорок:

А мы привыкли — вроде ничего! — бойко высыпала молодуха, та, которая доставала воду из колодца.

И-и, дорогой товарищ начальник, — простите, не знаю, как вас по имени-отчеству... — нараспев протянула пожилая сморщенная женщина в тёплом подшальнике с заплаткой. Лонь подсказал ей, как его звать. — Кому у нас об этом, Аркадий Андреевич, хлопотать? Наших правленцев палкой сюды не загонишь, хоть бы посмотреть пришли, а не только, чтобы чевой-то там... механизацию какую. Тут хлопот невпроворот: того нет, другого не хватает, а пол-литру им тут никто не приготовил — нешто их потянет сюда. А кабы руководители-то помогали, — тут совсем бы другая песня была.

И, кажется, ещё не подумавши как следует, она привлекла:

— Вот, может, вы, Аркадий Андреевич, расшевелите тут, как вы теперь у нас директор МТС, в свете сентябрьского Пленума...

Все разом засмеялись этой неожиданной бабкиной прыти, её смекалке, тому, как она по-своему неловко целилась и всё-таки попала в самую точку. Лонь тоже хохотал от души. И глядя на него, женщины понимали, что, конечно, он расшевелит!

Тесной группой они шли по ферме, смотрели коров и помещение. Лонь не говорил речей, но всем интересовался, не переставая спрашивать даже о том, чего доярки могли и не знать: целы ли семена в колхозе, есть ли торф поблизости, в каком состоянии луга, хватает ли саней — и всё записывал в маленькую хорошенькую книжечку.

Когда он не знал какого-нибудь деревенского термина, он нетерпеливо щёлкал пальцами над ухом: — Подскажите, как это... ну, беременная корова...

— Стельная, — дружелюбным хором подсказали женщины.

— Да, да! — кивал он головой, запоминая новое слово: — Стельная. Спасибо. А такая... ну, холостая —

как будет? Ага, яловая. Так. Ясно. Много у вас яловых?

Всем почему-то хорошо было рядом с этим понятливым и сильным человеком.

Потом подошёл председатель, и они все вместе обдумывали, как вывезти навоз, что сделать, чтобы хватило кормов, где лучше установить подвесные дороги и как найти денег, чтобы купить насосы для подачи воды.

Лонь остался в колхозе на отчётно-выборное собрание, вместе с активом подбирал кандидатуры в состав правления, а на прощанье опять зашёл на фермы.

— Я ничего не забуду, вы не беспокойтесь, — сказал он своим старым знакомым. — Я обещаю вам, что скоро мы с вами забудем эту кустарщину. Будут у вас и дороги, и насосы. Твёрдо обещаю. Но порядок тут у вас должен быть образцовый.

— Спасибо, Аркадий Андреевич, — кланялась бабушка с заплаткой на подшальнике — Анна Алексеевна, как стал называть её Лонь. — Будем стараться. Ну, уж ежели у вас чего там не заладится — дюже-то не переживайте. Потерпим маленько-то, ничего...

Лонь, растроганно смеясь, долго жал её корявую старческую руку.

Он не знал, какие преграды ждут его на пути к осуществлению того, что он пообещал, хотя и предполагал, что трудности будут. Запущенность и кустарщина, с которыми он сталкивался, были настолько для него постыдны и нетерпимы, что никакие известные ему хозяйственные трудности не могли бы остановить его — он ясно это чувствовал.

На взгляд некоторых новых своих коллег по работе он мог показаться странным. Он влезал в жизнь колхозов, не дожидаясь никаких указаний, требований и накачек. Его не терзали сомнения насчёт того, что ему делать: то ли всего-навсего «оказывать помощь» колхозам, то ли браться за них со всей силой и страстью, используя до предела и техническую мощь и кадры МТС. Он даже не предполагал, что есть на свете такие директора, которых эти сомнения извели вконец. Сидит этакий мученик где-нибудь в Уколицах в холодном кабинете, не сняв ни шапки, ни перчаток, и страдает в ожидании победы коммунизма. Жалкое зрелище!

Нет, Лоню такая роль была бы каторгой. Он возвращался из своей первой поездки по зоне с нетерпеливым
желанием скорее нажать на все рычаги, которые только могли оказаться в его руках.

3.

Квартира, в которую он перебрался перед отъездом, за эти дни изрядно промёрзла. В пей уже устоялся холодный запах нежилого помещения. Аркадий Андреевич быстро наколол дров, растопил печку, поставил чайник и замёрзшие московские консервы на плиту.

И комнате приятно запахло горящими дровами и теплом, которое быстро распространялось вокруг.

Аркадий Андреевич повесил пальто и опустился около топки на корточки. Отворил дверцу, посидел, глядя в огонь.

Освещённый красным пламенем, сейчас он был другой. В пиджаке и свитере на плотной фигуре, с седыми полосами, закинутыми назад и слежавшимися под шапкой, в массивных очках — он был какой-то притихший, домашний и... одинокий.

Закурил. Не отводя глаз от огня, задумчиво выпускал и топку толстые струи дыма. Он что-то перебирал в памяти. Рука нащупывала в кармане письмо от жены...

Много прожито вместе. И вдруг — почти чужие. Оттолкнула, как постороннего: «Дело твоё: езжай. Я никуда не поеду».

В шкафу стояла ещё прошлый раз начатая бутылка столичной. Аркадий Андреевич долго рассматривал высокие белокаменные здания на этикетке, потом налил целый стакан и залпом выпил. Но водка не действовала. Он поужинал, снова закурил и стал ходить по комнате. Дым полотенцами скользил через плечи и извивался за спиной.

Усилием воли Лонь гнал от себя то, от чего щемило сердце, пытался думать о делах, о том, какие книги начал читать. Он не прочь бы сейчас и «пульку» сгонять с друзьями, но кого соберёшь в такой час? Вспомнил, что инженер Гуничев поехал к шефам в Москву, мысли снова побежали туда, на Кировскую; Лонь с досадой закусил губу и стал шарить по карманам. Вынул записную книжку, остановился с нею под лампочкой. Перевернул один листок, другой... Присел к столу. Ровным движением достал новую папиросу и опять закурил. Лицо его постепен-

но распустилось, приобрело обычную деловую сосредоточенность.

Он пересмотрел свои записи. Конечно, в ком-то он мог ошибаться, но в основном у руководства колхозами теперь стояли дельные люди. При мысли об этом Лонь испытывал ощущение здоровой новизны, поселившейся там, в деревнях за Угрой. Но этой новизне нужна сильная и неотступная поддержка. Не хватает в колхозе какого-то мощного ядра, хорошо организованного, располагающего и надёжными кадрами и техникой, чтобы вокруг него всё вертелось, чтобы оно тянуло вперёд все работы, всю жизнь хозяйства.

В зоне такая сила есть — это МТС. А в колхозе? Тракторная бригада? По логике — так. Но тогда её надо как-то реорганизовывать. Сейчас она приспособлена только пахать и сеять, вести уборку и оттого поневоле оказывается в роли постороннего для колхоза подрядчика. А она должна жить большой жизнью артели и возглавлять там все решающие дела: вывозку удобрений, леса, камня, подготовку семян, строительные « монтажные работы, водоснабжение, электрификацию...

Тогда каким должен быть бригадир? Сколько специальностей надо иметь трактористам? Где их учить? И как сами они посмотрят на всё это?

«Посоветоваться надо, — размышлял Лонь. — Пусть о таких вещах все думают...»

Говорили об этом сначала на партийном собрании.

В жизни парторганизации МТС давно не ощущалось единодушной деловитости. На собраниях долго раскачивались, прежде чем попросить слово, говорили больше о мелочах, совсем не относящихся к делу, иные просто оправдывались, иные неловко молчали, пряча глаза от взгляда председателя, и расходились неудовлетворённые. И как-то уже тускнела вера в то, что именно они, два с лишним десятка коммунистов, есть ведущая сила в большом коллективе трактористов, комбайнёров, шофёров, токарей, конторских служащих.

Нужен был верно рассчитанный толчок к большим и каждому понятным делам, чтобы эта сила пришла в нормальное движение. Этого толчка ждали все, ждали, в частности,

от старого коммуниста Лоня. Он понял это, когда при выборах президиума весь зал вдруг закричал «Товарища Лоня! Лоня! Аркадия Андреевича!»

Его избрали председателем собрания несмотря на то, что он был докладчиком.

Лонь решил говорить обо всех очередных задачах, о множестве долгих и трудных дел, которые ждали усилий коллектива.

Говорил он, ничего не смягчая и не прикрашивая, местами даже сгущал тёмные краски, рисуя картину предстоящих трудностей. Но люди по его словам чувствовали, что сам он охотно и целиком отдаётся этим делам и ему не нужно никаких скидок на непривычность к незнакомой обстановке. Лица коммунистов только светлели от его суровых, жизненно правдивых слов. У всех будто растаяло что-то натянутое в душе, и каждому теперь хотелось широко и трезво раскинуть мыслями и шагать рядом с этим старым коммунистом, со всеми членами бюро в большой и решающей работе.

Лонь старался не вносить детальных предложений, он только подводил к ним людей. И его обрадовала вдруг прорвавшаяся смелость рядовых коммунистов. Радовал неловкий комбайнёр Кузин, который не постеснялся сказать, что «нет разворотливости у нашего руководства» и что «секретарь партбюро товарищ Михайлов мало занимается воспитанием механизаторов». Радовал участковый механик Кульбанов, раскрасневшийся и горячо говоривший о бесконтрольном использовании техники на вывозке удобрений в колхозах, об агрономах и зоотехниках, которые там «курортничают», а не занимаются организацией дела. Попадало и главным специалистам, очень неудачно подобранным, и некоторым членам бюро. Радовало и даже вызывало улыбку то, что каждый обязательно вносил целую пачку предложений и заканчивал речь словами:

— Со своей стороны я обязуюсь...

Предложений набралось много: провести совещание о новой организации работы тракторных бригад — «пускай сами трактористы мозгуют...», организовать техническую учёбу, разработать в колхозах перспективные планы, нанести порядок и дисциплину на ремонте тракторов, организовать в МТС учебную базу по производству торфоперегнойных горшочков…

Собрание кончилось, и Лонь видел, что коммунисты расходились возбуждённые, с приподнятым настроением, им хотелось и дальше говорить друг с другом о делах, о жизни, говорить просто и откровенно, как думалось.

Он уже оделся, когда к конторе подошла грузовая машина. Лонь посылал механика в Мятлевскую, на базу «Сельхозснаба», узнать насчёт насосов и подвесных дорожек, и теперь стоял, прислушиваясь к быстрым шагам, которые раздались на крыльце.

Механик постучался, вошёл. Директор встретил его наивно-доверчивой, почти детской улыбкой, и парень тоже улыбнулся.

— Есть?! — У Лоня даже голос зазвенел.

— Ни черта, Аркадий Андреевич, — топтался механик, комкая шапку. — Говорит: и понятия не имеем, какие такие насосы.

— Ну? — Лонь помрачнел.

— Говорит: это в Калугу надо, может, там знают. А подвесные дороги — это, говорят, по разнарядкам. Но их тоже не бывает.

Лонь закусил губу, поправил очки.

— Ладно, отдыхай. Завтра позвоним в Калугу.

Утром он связался с областной конторой сельхозснаба. Какой-то начальственно-хриплый голос раз пять переспросил: «Кто?... Конь?.. Какой конь?» и, наконец, ответил:

— Нет, не имеем.

— Слушайте, везде же это есть, — загорячился Лонь,— я сам видел и в подсобных хозяйствах, и...

— Не знаю, мы не имеем... — устало и оскорблённо прохрипел сельхозснаб и положил трубку.

«Неужели шефам придётся заказывать? — подумал Лонь. — Это же страшно дорого выйдет».

4.

С тех пор, как существует эта МТС, повелось так, что на ремонтные работы тут каждый приходил, когда ему вздумается. Неделя начиналась трудно. В понедельник с утра в мастерских работало только шесть человек. Это — галкинские. К обеду приходило ещё человек шесть из ближних деревень. Во вторник к середине дня подтягивались остальные. Настоящая работа начиналась со среды.

А в пятницу замполит уже вёл беседы о том, чтобы никто раньше субботнего вечера домой не уходил. Но зайдёт, бывало, замполит в мастерские в субботу с обеда — пусто, все ушли.

Казалось, что теперь такой неорганизованности пришёл конец. Была введена высокая оплата труда, все ознакомились с решениями сентябрьского Пленума, да и обстановка в МТС изменилась. Прибыли новые опытные руководители. Все ждали каких-то серьёзных перемен. Но на работу выходили по-старому.

Пришлось специально говорить об этом на совещании.

На другой день новый заведующий мастерскими инженер Виталий Пилипчук пришёл на работу без пяти восемь. В цехах — ни души. Из полумрака выступали чёрные, пропахшие машинным маслом силуэты разобранных тракторов. Прошёл в механический цех. Там, за деревянным барьером, в углу стоял его столик. Минуты казались очень долгими. Восемь. Начало девятого. На заводе в это время уже чувствуется чёткий ритм труда, у станков появляются первые стопки деталей. Тот, кто опаздывал на минуту, мчался по цеху, как угорелый, виновато улыбаясь товарищам направо и налево.

Тут тоже предприятие и не такое уж примитивное. Зря представитель областного управления сельского хозяйства говорил в Москве, когда инженерам вручали путёвки в Галкино, что мастерские МТС размещены в бывшей церквушке, что оборудование там допотопное. Видно, товарищ был не в курсе. Мастерские занимают вполне подходящее кирпичное помещение, в них даже кран-балка есть. Беда, что нет самого элементарного порядка и дисциплины. Инструменты валяются под верстаками, среди тракторных деталей, — специальных шкафчиков нет. Нужный гаечный ключ очень долго приходится искать. Один напильник и тот сточенный, как старая подошва, переходит из рук в руки. После первоклассного завода, на котором заменяли чуть подносившийся инструмент, такая бедность казалась Пилипчуку невероятной.

Вот, наконец, хлопнула дверь. Глухой гул прокатился по безлюдным цехам. Кто-то дул на руки, топал ногами. За окном послышались голоса.

Долго тянулись сборы. Будто и не было вчерашнего совещания.

Легко было бы что-то предпринимать, если бы опаздывало пять — шесть человек, а то почти все!

— Где Козлов? — спросил бригадира Пилипчук, уже освоившийся с людьми и запомнивший многих в лицо.

— Вроде тут где-то, — ответил тот, сам точно не зная, пришёл ли уже Козлов или нет.

Пилипчук нахмурил лоб. Чёрт возьми, даже узнать нельзя, на работе человек или нет. Табельной доски и то не могли придумать. И его вдруг осенило: «Да что же ты сам-то не учредишь эту доску?»

Дня через два табельная доска была сделана. Пилипчук приказал повесить её около своего стола и лично наблюдал, кто когда перевешивает свой номерок. Рабочие видели в молодом Пилипчуке солидного и умного инженера. С ними он обращался просто, но вдумчиво. Перевешивать номерок с опозданием под взглядом такого человека — удовольствие маленькое, тем более, что он просил объяснять причины опоздания. И всё-таки нашлись двое, чьи номерки с утра бывали нетронутыми — это Козлов и Шмелёв. Они вообще старались не замечать табельной доски, даже когда приходили вовремя. Долго они молча игнорировали новый порядок. Каждое утро проходили, по-бычьи опустив головы под насмешливым и осуждающим взглядом Пилипчука и стараясь не встречаться с ним глазами. Над упрямцами начинали подтрунивать ремонтники. Наконец, однажды утром друзья не то небрежно, не то виновато улыбаясь, взяли в руки свои номерки...

Труднее оказалось изживать прогулы.

В одну из суббот МТС должна была выпустить из ремонта очередной трактор. Всё шло нормально. Комсомольцу Салатенкову оставалось часа на четыре работы, чтобы закончить сборку последнего узла. Но в полдень оказалось, что Салатенкова в мастерской нет.

— Домой, должно, пошёл, — безо всякой тревоги предположил его сосед.

— Ушёл — это точно, — подтвердили токари. — И искать нечего.

Пилипчук срочно поставил было к этому трактору других рабочих, они начали сборку, но где что у Салатенкова лежит — так и не разобрались — бросили.

После выходного виновника вызвали на заседание комитета комсомола.

— Ну, рассказывай.

Салатенков молчал, надувшись и шумно сопя носом.

— Как получилось-то? Ты ведь подвёл весь коллектив.

Никакого ответа на эти вопросы не предвиделось.

— Что же ты молчишь? — повысил голос секретарь.— Ты понимаешь, что ты порочишь звание комсомольца?

Теперь Салатенков всем видом своим силился показать, что этот разговор невыносимо оскорбителен для него. Парень кривил губы, придумывая, чем бы отомстить за то, что с ним так разговаривают, и процедил: Ну, исключайте.

Лонь смотрел на него и думал: «А жидкий на расправу. Сколько надо повозиться, чтобы сделать такого настоящим человеком!»

Но дело было не в нём одном. Прогул в условиях МТС, когда механизатор работает в мастерских, а живёт далеко в колхозе, тут издавна считается поступком вполне естественным. И этого за одну неделю не изживёшь. Лоню вспомнилось: заходят к нему в кабинет двое рабочих. У одного плутоватое выражение лица, руки он держит по швам.

— Что это вы так, навытяжку? — интересуется Лонь.

—У меня выправка такая, товарищ директор, — пытается шутить тот.

— Она у вас всегда такая или только, когда вы в чём-нибудь провинились? — тоже не без иронии спрашивает Лонь.

Парень, зажмурив глаза, трясёт головой:

— Это вы точно подметили. Прогулял... Последний раз, Аркадий Андреевич. Сами знаете — детишки, хозяйство. Дровишек надо наготовить, того-сего, муки смолоть — вот и ...

Такие объяснения Лоню приходилось выслушивать даже от передовых людей станции.

«Строиться надо скорее, — решал он. — Всё это отпадёт сразу, как только мы стянем самый необходимый народ из колхозов на усадьбу МТС. И в семьях рабочие будут больше находиться с женой, с детьми. А это тоже важно».

Что ни день, то всё новые глыбы дел громоздились одно на другое. И число их не убавлялось: где надо было своротить

целую скалу, там удавалось пока лишь отколоть небольшой кусочек.

Насчёт перестройки работы бригад было, наконец, решено. Бригадиры принесли списки людей, которые пойдут работать в колхозах, и тех, кто останется на ремонте. Лонь поручил главным специалистам выехать в колхозы и организовать там работу этих бригад. Во многих побывал сам. За участковыми механиками закрепил по две тракторных бригады.

— Эти специалисты должны быть вроде старших мастеров на производстве, — объяснял на совещании. До сих пор они не несли ответственности за положение дел в бригадах. Теперь директор обязал их помогать бригадирам в организации работ, вести контроль за техническим уходом и учить трактористов.

Вязла МТС с механизацией трудоёмких процессов. Подвесные дороги кое-как добыли — в пяти колхозах можно было их монтировать. В Острожном, Озерне, Плюскове и Головине было всё, чтобы электрифицировать фермы. В восьми деревнях не так уж трудно наладить водоснабжение. Но кому всё это поручить?

Руководить механизацией трудоёмких процессов в животноводстве прислали в МТС техника Владимира Сумачёва. Но парень он городской — никак не осмелится сказать себе: «Будь здесь». Лонь дал ему время осмотреться, подготовить план действий и на третий день вызвал на беседу. Надо было рассеять у парня всё, что его связывало, зажечь в нём беспокойный трудовой огонёк.

В кабинет вошёл красивый молодой человек. Лонь, закуривая, указал ему на диван, сам уселся поудобнее и, ничего пока не спросив, начал попросту делиться своими думами:

— Смотрите, что получается...

Тихо и не спеша, как в домашней беседе, он говорил о людях, которые долгими годами несут на своих плечах непомерные тяжести. В мороз и вьюгу они руками достают с 20-метровой глубины воду — не два, не три ведра — по сотне вёдер в день. И это — у нас, где так много инженеров и техников, где можно механизировать любой трудоёмкий процесс. Он говорил, не поднимая глаз от спичечной коробки, которую в раздумье перевёртывал пальцами с дымящейся папиросой.

— Понимаете, обидно за этих самоотверженных людей,- в голосе Лоня звучала простая человеческая печаль. — Они на себе таскают

коровам воду, чтобы обеспечивать страну продуктами, а мы, инженеры, техники, даже забыли о них. И если мы с вами поможем им, вы представляете, что это будет? Причём это не так трудно и осуществлять. Колхозники настолько понимают необходимость механизации труда на фермах, что тут не потребуется никакой агитации. И траншеи пойдут рыть и что угодно...

Лицо Сумачёва уже светилось благодарностью к этому седому инженеру за такой разговор.

— Верно, Аркадий Андреич! — поняв, что теперь можно отвечать, горячо заговорил он. — Тут, в деревне, даже небольшое дело сделаешь, а людям от него такая помощь — просто и не знают, как благодарить.

— Ну, а ты как устроился-то?

— Неудачно. Хозяйка несговорчивая какая-то. В квартире холодно, печка развалилась...

— Вот что, — Лонь выпрямился. — Через пять дней печь у тебя будет новая. Ясно? — Он ещё раз обвёл лицо техника изучающим взглядом и сказал совсем по-дружески: — М-махни ты рукой на все свои сомнения и отныне | читай себя здешним, коренным жителем. Договорились?

Сумачёв, уходя, радостно закивал головой.

«Но насосы, насосы! — Лонь с ожесточением тёр себе кулаком шею. — Чёрту душу заложил бы за них...»

Его мечтою был безбашенный насос — простая и безотказнейшая машинка. Не надо ни водонапорной башни, ни артезианской скважины с мощными моторами. Смонтируй у колодца эту «игрушку», и она тебе будет гнать воду на все фермы. Накачает до отказа — выключится сама, убавилась вода — насос опять начинает работать — пей на здоровье!

Знал бы, где есть такие — пешком бы пошёл за ними. Нету! Почему-то очень мало их ещё выпускают.

«Прямо хоть садись и сам конструируй такой насос», — подумал однажды Лонь.

Но вскоре у него произошла интересная встреча, которая повернула события иначе. В Кондрове на районном собрании партийного актива он познакомился с человеком простецкого вида и небольшого роста, который рассказывал что-то председателям колхозов о малой механизации.

Это был главный инженер литейно-механического завода Гусаков, неугомонный изобретатель, рационализатор и великий энтузиаст малой механизации. Лонь очень обрадовался этому знакомству. Инженеры сразу нашли общие темы: заговорили о гидротаранах, о рельсовых дорожках, о технических новинках.

— Вы знаете, я всю зиму бьюсь, — пожаловался Лонь, — нигде не могу найти водяных насосов.

— Не найдёте, — убеждённо подтвердил Гусаков. — Не скоро они ещё будут.

— Чёрт побери! — выругался Лонь. — Знаете как нужны?

И он рассказал о своей первой поездке в заугорские колхозы, о доярках, о своём решительном обещании помочь им.

— Можно попробовать у нас на заводе, — спокойно сказал Гусаков.

Лонь уставился на него сверху вниз: всерьёз он или так, ради приятного знакомства? Гусаков встряхнулся:

— Сложный не сделаем, а попроще да с вами вдвоём — почему же?

— На первое время и такие хороши...

С того дня Лонь несколько раз ездил на завод. В первое время приезжал оттуда в хорошем настроении, а однажды вернулся молчаливый и рассеянный.

— Были испытания? — осторожно спросил инженер Гуничев.

Лонь поморщился:

— Барахло.

Ничего больше не сказав, он просмотрел очередную почту, пожал плечами. Из областного управления сельского хозяйства опять не было ни слова. То присылали в день по десятку пакетов, однажды пришло даже пятнадцать, и половину из них можно было вообще не посылать. А теперь взялись сокращать переписку и даже на запросы не отвечают: борьба с бюрократизмом путём усиления... волокиты.

— Сами глаз не кажут — ладно! — ворчал Лонь.— Но хоть бы уж на просьбы отвечали. Хоть на важнейшие!

Два письма он послал начальнику управления, одно в облисполком. Писал: в МТС нет клуба, собрания и занятия с механизаторами проводить негде, освободили старый каменный сарай, заготовили де-

вяносто кубометров леса, напилили досок, настелили пол, потолок, сделали сцену, сложили печи. Нужно всего 14 тысяч рублей... Никакого ответа! Раздумывают. А в конце года будут каяться: «не могли освоить столько-то миллионов»! Почему так неповоротлив аппарат управления?

Обычно к концу дня, когда Лонь уставал, ему начинало казаться, что дела у него почти не движутся, что он приехал сюда и топчется на месте. Настроение портилось. Он шёл в таких случаях домой, переодевался в пижаму и, полулёжа на кушетке, начинал читать какую-нибудь интересную книгу.

А сейчас откровенно сказал о своём настроении секретарю партбюро.

— Вот смотри: бьёмся, бьёмся, а реального пока ничего.

Михайлов подумал. Это был молодой, но по-стариковски неторопливый человек, привыкший всё взвешивать не спеша. Он давно работал в МТС, был и трактористом, и до мелочей знал жизнь и каждого работника станции.

— Ну как же ничего? — вполголоса возразил он директору. — Подъём идёт. Медленно пока, но идёт.

Лонь ждал, что дальше.

— Вот смотрите, как поднялся процент выхода на работу за месяц. Вдвое. Сейчас он уже на уровне девяноста — девяноста двух. Это не пустяк. Ремонт идёт намного лучше, чем в прошлые годы... Бывало ведь как? Нет запасных частей — садятся ребята около печки и покуривают. А теперь попробуйте заставьте их сидеть!

Директор хотел что-то возразить, но сравнения заинтересовали его.

Михайлов продолжал:

— Я вот проездил на семинар, тут перестали вывешивать показатели соревнования. Раньше бы на это никто и внимания не обратил. А сейчас Захаров — кузнец этот, знаете? — подходит и уже с таким намёком:

— Насчёт выработки бы узнать... какая у кого производительность... Интересно бы...

Вывесил я показатели, Захаров подошёл, почитал — против его фамилии стояло 140 процентов. И смотрю — улыбку прячет:

— Угу. Теперь буду знать.

—А потом вы учтите и такую вещь. Тут всегда считалось, что вот соседняя, Полотняно-Заводская МТС, — такая уж станция, что может быть только передовой, а вот наша, Галкинская, — эта всегда где-нибудь в хвосте плетётся. Такая уж она есть — отстающая! А нынче что? Не слыхали? Я заикнулся про Полотняно-Заводскую МТС, а мне все в один голос:

— А что Полотняновская? В сводке мы с нею почти уж поравнялись!

Михайлов выпустил изо рта струю дыма куда-то в верхний угол и примолк. Лонь тоже молчал, раздумывая и сопя залёгшим от простуды носом.

— Сдвиги есть, — уже как бы про себя выговорил Михайлов, — только маленькие ещё.

Лонь задумчиво перевёртывал пальцами спичечную коробку. А ведь он в самом деле не замечал этих перемен. Сравнивать то, что делалось, ему было не с чем, разве только с тем, что предстояло сделать. Но это сравнение ничего не открывало ему. И жаль! Открыть было что. Не сдвиг, нет — процесс. Новый, глубоко идущий жизненный процесс...

В эту минуту Лонь, казалось, уже сожалел, что сейчас вечер, и радовался, что завтра будет день, будет много работы и что к концу того дня коллектив сделает ещё что-то. Глубинный процесс получит новую силу.

—А знаешь, — сказал Лонь,— с насосом-то ерунда получилась. Будем переделывать.

5.

Чисто выбритый, свежий, он в девять часов утра уже стоит у своего стола и протирает очки. Крупное лицо его с ямкой на крепком подбородке выглядит сосредоточенным. Он собирается ехать в колхоз «Правда». Там нужно окончательно решить вопрос об электрификации центральной усадьбы (добились, что спиртокомбинат — шеф колхоза — выделяет подшефному 12 киловатт электроэнергии), договориться, чтобы комбинат конкретнее помогал колхозу. В «Правде» работает половина тракторной бригады Павлова во главе с самим бригадиром: вывозят удобрения, начали монтировать подвесную дорогу. Надо проверить.

Председателем в «Правде» работает Карпухин — пожилой агроном, человек знающий, но замкнутый. Всё делает молчком. К МТС у

него отношение до сих пор было довольно своеобразное. Михайлов рассказывает: бывало, ходит председатель по полю и тихо ворчит:

— Где ж эти агрономы мэтээсовские? Напахано, не поймёшь как.

Ворчит так, чтобы краем уха это слышал кто-нибудь из работников МТС. Но ничего не требует, не останавливает трактор, не заставляет переделывать. Тихо удаляется. Участок обработают, засеют. Карпухин отправит в район сводку и только после этого начинает «ставить вопрос» о качестве, жаловаться руководителям района: Какой же тут будет урожай!

Ему говорят: «Где ж ты раньше был?» Карпухин делает скучное лицо:

— Да нешто я не говорил! Говорил и агроному, и замполит тут был... Никаких мер не принимают.

Теперь он начал чувствовать себя в хороших государственных руках. Едва увидел с горы, что старый «газик» Лоня остановился у конторы колхоза, побежал туда. К директору МТС у него много всяких просьб и вопросов, Лонь поздоровался, посадил Карпухина рядом с собой и сразу приступил к делу:

— Так вот: комбинат готов давать тебе 12 киловатт. Ты как?

Лонь не спешит со своими советами, требованиями: пусть сам соображает, что теперь надо предпринять.

— А как возьмёшь эту электроэнергию? Сейчас столб прыть — проблема: зима.

— Плохо подумал,— осуждает Лонь.— Столбы оставь до весны, но всего весною не сделаешь — там других работ будет много. Внутреннюю проводку можно сейчас делать?

— Можно, — сразу сдаётся Карпухин.

— А это большой кусок дела.

Карпухину определённо нравится такой директор, он даже завидует ему. Всё у него ясно, отчётливо, всё давно обдумано. Раз-два — решили один вопрос, переходит к другому, к третьему — как по-писаному. Вопросов десять решили за полчаса, побывали у руководителей спиртокомбината, в бригаде у Павлова, и директор ни разу даже не заглянул в записную книжку — не забыто ли что-нибудь? Карпухин только вошёл во вкус — Лонь уже протянул ему руку, садясь в машину.

— Значит, договорились: завтра присылаю электромонтёра. У тебя всё должно быть готово.

— Да-а... — качнул головой Карпухин, глядя вслед помчавшемуся старому «козлику». А мы «руководим — про охапку соломы до утра митингуем...

В конторе директора уже ждали. Явился, «из дальних странствий возвратясь», бывший тракторист Кабанов; столяры прибыли уяснить «генеральную линию» и заодно отвертеться от поездки на заготовку леса; в десятый, наверное, раз пришли за деньгами каменщики и штукатуры, которые восстанавливали клуб. Тракторист в замасленной телогрейке ходит, волнуется — даст директор на чём перевезти дом или нет. Всем охота поскорее отделаться, тракторист норовит будто невзначай стать поближе к двери — больно уж неприятная это штука — ходить к начальству. Бывало, зайдёшь подписать какую-нибудь бумажонку к директору — тогда ещё не Лонь был, другой — там и крик, и брань, и не добьёшься никакого толку.

Когда Лонь показался в коридоре, все расступились, он поздоровался с ними и прошёл в кабинет. Тракторист подождал с минуту и постучался.

Директор стоял за столом, спокойно протирая очки белым платочком. Чтобы долго не переживать, тракторист выпалил с ходу:

— Купил я, Аркадий Андреич, дом и вот не знаю, как его перевезти.

Не вдаваясь в уточнение, директор проговорил будто про себя:

— Передайте, что я разрешил вам взять «С-80».

Парень растерянно заморгал глазами. Ему показалось, что директор не успел ещё дослушать и обдумать такую серьёзную просьбу, а у него уже сорвалось распоряжение. Строительство дома дело такое, что о нём даже думать второпях нельзя. И притом машины все заняты, ночами и то работают. А перевезти надо обязательно до распутицы. В то же время парень боялся, что директор вдруг передумает и откажет.

Лонь легко заметил все его сомнения и добавил с тем же спокойствием:

— За сутки управишься? Ну, давай. Ребята помогут.

За десять минут он отпустил почти всех, остался лишь вместе с напарником молодой весёлый столяр Чибисов.

— Теперь слово, конечно, имею я, — пояснил он.

Слово он имеет по части строительства городка машинно-тракторной станции. Правда, проект планировки этого городка ещё не окончательно ясен, генеральный план не утверждён, но в общих чертах всё определилось. В МТС уже знают, где пойдёт какая улица, как разместятся в парке детские ясли и площадки, поговаривают о водопроводе, о палисадниках, полных сирени и жасмина. Вчера зашёл помощник бригадира справиться, куда ему перевозить свой дом. Лонь достал набросок плана усадьбы МТС, где красными квадратики ми обозначены будущие дома.

— По карте ходил когда-нибудь? Ну вот, ориентируйся: это пруд, это вон тот сарай, это — мастерские. Вот улицы. Эти участки уже заняты. Выбирай вот рядом с Голубевым. Место хорошее... Понимаешь, в этом проекте всё «привязано» вокруг готовых строений и тут не может быть других вариантов планировки. Так что ты выбирай смело.

19 марта 1954 года на пустое, заваленное снегом поле, где будет улица, въехал первый трактор, нагруженный деталями разобранного деревянного дома кузнеца Воробьёва.

Если учесть всё это, а также то, что весёлый столяр Чибисов не знает ничего красивее своей профессии, то станет понятно, что он чувствовал теперь себя в самом центре новой истории МТС. Прежде всего он не советует директору спешить с хорошей мебелью: материал сырой, рассохнется всё — двойная выйдет работа. Лонь слушает. Он умеет слушать.

— Давайте мы начинать пока не с венских, а с деревенских, — говорит Чибисов, смакуя каждую фразу.— Первую нужду людям надо обеспечить! А время придёт — всё станет на своё место. Зайдёте вы к трактористу, глянете — как в самой наилучшей интеллигентной квартире будет: и резное, и точёное, и под лак.

После такого вступления он лукаво и горячо говорил насчёт того, что негоже самим столярам ехать заготавливать лес.

Лонь насмешливо прищурил глаза и погрозил лукавому столяру пальцем:

— Пошутили и хватит. Ты понимаешь, что иначе сейчас нельзя? Такой период.

— Что ж, — сдался Чибисов, — будем считать, что уговорили...

Сотрудники постепенно узнавали, что директор всем умеет заниматься с большущим интересом, и это уже передавалось им всем. Землеустроителю нравилось сидеть с ним над планами, вычислениями. Понравилось даже, как директор заметил ему, когда он, заторопившись, взялся было делать черновые вычисления в записной книжке.

— Зачем портить записную книжку? Это же черновая работа, — и подал лист бумаги.

С истинным увлечением он занимался сегодня расчётами. Тут он в своей стихии! Надо было решить, удастся ли переправить на пароме через Угру трактор «С-80» на улучшение лугов.

Начальник мелиоративного отряда Каменский сказал, что можно переправить вброд.

— Это когда будет? — строго спросил Лонь. — Когда трава на лугах вырастет?

В этом году наметили осушить в зоне 232 гектара болот, удалить кустарник с площади в 304 гектара, срезать кочки, провести поверхностное улучшение двухсот гектаров луга. А уж если улучшать луга, то не в мае же, когда трава пойдёт расти вовсю. Каменский, видимо, сейчас только и понял, каким энергичным и поворотливым ему надо быть, и схватился за расчёты.

— Вес трактора будет...

— 11 с половиной тонн, точнее — 11.700, — сразу ответил Лонь. Неведомо, когда он успел запомнить эту цифру.

Оба уславливаются о приблизительных размерах лодок, быстро множат, определяя объём. Соревнуются.

— 7,36 кубометра — объём лодки,— объявляют почти в одно слово. — Удельный вес воды равен единице. Значит, 7,36 тонны — предельная подъёмная сила одной лодки.

— Знать точно размеры — можно даже и осадку определить, — заключает Лонь. — Только при погрузке и выгрузке домкраты будут нужны.

— Да, всё давление будет сосредоточено на одном краю,— спешит реабилитироваться технической смекалкой Каменский. — Можно длинные брёвна класть.

— Можно и брёвна. Оба довольны быстротой расчётов, друг другом, а больше тем, что трактор переправить можно. Но Лонь всё-таки даёт Каменскому до конца почувствовать, что нельзя позволять себе канцелярского спокойствия.

— От вас зависит знаете что? — серые глаза его спрашивали тоже упрямо, но с дружеским доверием. За этим «что» у Лоня стояли обширные, но заросшие кустами, кочками луга, которые пора привести в порядок; стояло за этим «что» настоящее богатство — большие стада коров. Каменский понял всё и кивнул, Лонь одобрил это взглядом и закончил: — У вас всё должно быть абсолютно ясно.

Он никого не брал в «шоры». Людям, которые не умели ценить порядок и дисциплину, он говорил иногда:

— Я могу вам объяснить, почему я требую то и это. Но чтобы мои требования были не выполнены — такого положения я не допущу.

Каменский вышел от него лёгкой размашистой походкой.

В самое напряжённое время выяснилось, что члены семей механизаторов, будучи колхозниками, стали отказываться от работы в колхозах. Виктор Снудин, рабочий МТС, приказал жене:

— Чтоб тебя не было на колхозных работах!

Мамаша учётчицы Марьевой уже давно не вырабатывала минимум трудодней. Лонь узнал об этом и сразу начал приглашать к себе рабочих.

Вошла учётчица Марьева, села, поджав ноги, у стола. Директор с минуту изучал её, потом спросил:

— Сколько у вашей матери трудодней?

Девушка мигом сообразила, о чём речь, и примирительно ответила:

— У неё, Аркадий Андреевич, есть справка. От доктора. И потом, разве я могу за неё отвечать?

— Минуточку, — перебил её директор, — давайте разберёмся, как вы рассуждаете. Все советские люди мобилизованы сейчас на очень серьёзное дело — на решительный подъём сельского хозяйства. А вы, передовой человек,

работник МТС, хотите оставить в стороне от этого своих родителей?

Марьева густо покраснела.

— Ну? — напирал Лонь.

— Действительно — нехорошо, Аркадий Андреевич. Я сделаю...

К вечеру стали заезжать председатели колхозов.

В первое время они редко заглядывали в МТС, а самих их, бывало, не найдёшь и неизвестно было, чем они занимаются. И сладить с ними не так просто. Есть тут одно очень неудобное обстоятельство.

На ответственности МТС — вся жизнь колхоза, а потребовать с председателя она ничего не может. У директора МТС есть только одно средство воздействия — убеждение. Но Лонь находил и другие.

Однажды председатель колхоза «Светлый путь» Ковалёв взял «С-80» с двумя санями, посадил на них восемь колхозников и поехал на Мятлевскую за цементом. Но когда прибыли на станцию, выяснилось, что Ковалёв, перестаравшись по части спиртного, забыл как следует оформить документы. 60 километров попусту проходил трактор туда и обратно. Простить это было нельзя. Лонь поехал в колхоз, попросил созвать собрание и добился, что оно постановило взыскать с председателя деньги за горючее и холостой прогон трактора.

После этого случая колхозные руководители стали иначе относиться не только к директору, а и ко всем работникам МТС.

Сегодня первыми к Лоню приехали председатель колхоза имени Кирова Кулаков с агрономом Высельским. Всего на диване уместилось человек шесть.

Разговаривают, обдумывают они свои дела и видно, что им доставляет большое удовольствие говорить с этим жизнелюбивым человеком, который всё помнит, знает и каждого понимает с двух слов.

— Условимся так, — говорит он Кулакову: — до пятнадцатого смонтируем генератор, приведём в порядок движок, к концу недели составим смету, приобретём кое-что.

Договариваются о том, что делает колхоз, что МТС.

Агроном Высельский, худощавый, низенького роста человек с острым лицом, сидит тут же и в разговор не вмешивается. Он ещё никак не найдёт своего места в новой сельской жизни. Привык быть участковым агрономом — наблюдателем. Сейчас взялся сам семена возить, хотя с

этим прекрасно справился бы любой грамотный колхозник. А вот за агрономические дела в колхозе не берётся, жить продолжает на территории другого колхоза.

Лонь доходит и до него.

— Как будешь квадратно-гнездовой способ применить?

— Понимаете... Осложнение тут, — замялся агроном. — Боюсь, народу не хватит перегной в лунки класть...

— Подожди-ка, подожди, — спокойно перебивает его Аркадий Андреевич. — Ты лекцию в Калуге слушал? Ну, а что ж ты начинаешь крутить? Тебе нужно 6–8 дней, чтобы посадить картошку. Давай пойдём на то, чтобы ещё дня два прихватить. Но ведь зато ухаживать легче и урожаи выше.

Лонь не ожидал, что агрономов трудно будет поворачивать «лицом к производству». Оказалось, что многие из них до того сжились с ролью участковых наблюдателей, что отвыкли от живой организаторской работы, да и от ответственности. О том, какая у них была дисциплина, тут рассказывали довольно весёлые истории. Звонит, бывало, из МТС девушка-агроном своему подчинённому участковому специалисту и начинает деловой разговор:

— Женя, ну как ты там живёшь? Что ж ты вчера не приехал? Я тебя вызывала. А то я выговор могу объявить...

Понятно, что с нею каждый разговаривал, как ему было удобно, иной раз и с крепкими словечками. Тогда она мчалась к директору вся в слезах:

— Они меня не слушаются!

Но того директора многие тоже не слушали.

Лоню пришлось поворачивать круто. Ввели десятидневные задания агрономам, установили жёсткий контроль за выполнением этих заданий, в конце каждой декады вызывали с отчётами на производственные совещания.

Но Высельский и тут устроился мирно-тихо. Он стал прятаться за активностью председателя колхоза. Показатели у него были всегда приличные. Лонь сразу раскусил это. Ни о чём, оказывается, всерьёз этот специалист не думал.

— На что ж ты надеешься? — негромко допрашивал его Лонь. — У нас непочатый край работы, надо организовать людей, знакомить их с новинками, с передовым опытом, внедрять этот опыт. А ты?

Повернулся к Кулакову:

— Ты требуй от него самой серьёзной помощи в работе с людьми. И перетаскивай его скорее в колхоз. Или я его переведу вон туда — на край зоны.

Острое лицо Высельского, кажется, впервые по-настоящему посерьёзнело. Против обыкновения он уже не оправдывался, а думал.

К вечеру тихо стало на усадьбе. Только двигатель электростанции глухо хлопал за дорогой.

Михайлов сидел у директора на диване и рассказывал о жизни трактористов во время полевых работ. Не очень давно он сам был трактористом, во всех тонкостях знает быт механизаторов. Казалось, он, вчерашний замполит, только теперь начинал верить, чгго быт трактористов будет, наконец, налажен как следует. Лонь слушал его, весь подавшись вперёд.

— Ну, вот, смотрите, весна,— не спеша ведёт Михайлов рассказ. — Приедут трактористы в деревню. Отведут им у какой-то бабушки угол. Кроватей, конечно, нет. И матрацев нет. Сено ещё не выросло, а солому всю за зиму израсходовали. На чём спать трактористам? Найдут где-нибудь гнилой соломки, втащат в комнату и ложатся. Конечно, в нижнем белье лежать на гнилой соломе не хочется, поэтому никто не раздевается — ложатся в чём работали. И умываться перед сном нет никакой охоты. А придёт осень, утренники холодные. Посмотришь: свернулись ребята где-нибудь в сене калачиком, спят и зуб на зуб не попадают. Глядь — у того фурункулы пошли, у того кашель.

— О-о-о... — изумлённо тянет Лонь, распрямляясь.— Эт-то дело серьёзное. Это решительно надо поломать. Хорошо, что вы всё это знаете.

И уже будто диктует своё решение:

— Всем, если не кровать, так топчаны с матрацами. Трактористам — не угол, а, по возможности, отдельную комнату. Приходят со смены — им нагрет котёл горячей воды. Моются, кушают, отдыхают. Так?

Михайлов улыбается. Доволен. Начинает рассказывать о питании.

Кажется, на свете нет более запутанного дела, чем организация питания трактористов. Выписали на него продукты тут, а он уже переехал туда. Но на его место прибыли двое каких-то шефов и шофёр. И, в конце концов, оказывается, что парень, который обедал через пятое на десятое, «съел» чуть ли не за семерых и должен колхозу солидные суммы за продукты.

— Ну, тут продумать надо, — сказал Лонь. — Я, например, считаю, что питание у трактористов должно быть четырёхразовое. Разрыв между завтраком и обедом 6–7 часов немыслим. Утром — какая еда! По себе давайте судить. Значит, по существу, до обеда тракторист работал натощак. Нет, — четырёхразовое! И, пожалуй, талонную систему надо попробовать, чтобы оградить людей от всяких махинаций и путаницы. И знаете ещё что? От профсоюзной организации надо выделить инспекторов по проверке качества блюд. А? За питанием людей давайте следить самым строжайшим образом.

Рабочий день кончился. Все разошлись. Лонь идёт последним. Всюду выключает свет, запирает двери, выходит на крыльцо.

— Пусть за одно лето нам не всё удастся перевернуть в вопросах быта, — говорит он Михайлову. — Сила плохой привычки очень велика. Но то, что мы сделаем сейчас, — в будущем году трактористы подхватят сами. К старому им уже не захочется возвращаться.

Ночь воцарялась вокруг. За селом безмолвно белели снежные поля. Но на дорогах и в деревнях по всей зоне продолжалась невиданная ещё неугомонная жизнь.

Обычно зимой тут всё замирало. Умолкал рокот тракторов на полях, редко, бывало, увидишь в сумерках лучи фар на дорогах. Теперь и днём и глухой ночью по снежному морю курсировали, словно крейсеры, мощные дизельные машины, пробиваясь сквозь сугробы и вьюги. Они везли удобрения, лес, семена, бочки с горючим, разобранные дома и даже колёсные тракторы, которые на санях великана «С-80» выглядели игрушечными.

Казалось, эти чёрные гусеничные великаны взяли на буксир всю жизнь зоны и теперь яростно прорываются куда-то напрямик по полям и перелескам.

Лонь стоял на крыльце, задумавшись, когда подбежал кто-то в полушубке:

— Аркадий Андреич, там летучка застряла. Километра два отсюда.

Лонь пошёл к мастерским. Навстречу шагал пружинистый молодой тракторист Дервук. «Сколько же он сегодня наработал!» — с уважением подумал Лонь. Привёз из леса двенадцать кубометров дров, ездил на станцию, уморился, конечно. Но летучку выручать больше некому. И Лонь, остановившись, проговорил грустно:

— Понимаешь, Дервук, летучка застряла.

—Да? А где? Ну, я сейчас.

Лонь ласково посмотрел ему вслед.

Однако на этом невольному испытанию боевого духа тракториста не суждено было окончиться. Где-то по дороге со станции завязли в сугробе сани с зерном, буксируемые маленьким трактором. Дервук, уже приготовившийся отдохнуть в тепле, выслушал эту печальную историю и снова полез в кабину своего «Сталинца».

Аркадий Андреевич слышал, как в двенадцатом часу ночи подошёл к усадьбе трактор Дервука. Но только дня через три Лонь узнал, что сани с зерном тогда опять где-то застряли, и ребята уже сами разбудили Дервука, вызвали на помощь. Он встал, залил воды в радиатор, завёл машину, вытащил сани на самую надёжную дорогу и только в третьем часу ночи лёг спать.

— Героический народ! — качал головой Лонь, когда ему рассказали об этом.

6.

Когда в заугорских колхозах устанавливали насосы, Лонь с засученными рукавами и сбившимся набок галстуком сам «командовал парадом». Рядом толпились ребятишки, прокуренные деды стояли, как на молебне, свинарки, телятницы.

Старая доярка Анна Алексеевна всё в том же тёмном подшальнике с серой заплаткой, остроносая и беззубая, остановилась ближе всех к механикам и долго им рассказывала свои деревенские новости.

— Варим, бывало, свиньям картошку — я ведь и свинаркой и кем только не была! А котлы-то наружи. Снизу подгорает, а сверху — мёрзлая. Вот, истинный господь, не брешу! А теперь-то, Аркадий Андреевич, с запарником-то, а? Вот благодать-та-а! Истинный бог, такое облегчение получилось. Инженеры, то-то!

На тугих губах Аркадия Андреевича блуждала тихая улыбка. Он вытирал лоб тыльной частью кулака, выпачканного чёрным маслом, и отзывался между делом;

Пора, Анна Алексеевна, пора.... Правда, в гору дело идёт?

—Уж как идёт-то, не сглазить бы, аж и я вроде помолодела.

Бабы захохотали:

— Прямо хоть сейчас замуж, Алексеевна!

...Лонь возвращался поздно. Старый «козёл» добросовестно выкарабкивался из ухабов, ворча безобидно и терпеливо.

На душе у Аркадия Андреевича было легко. Думалось о том, как заметно стало всё преображаться в колхозах, как меняются и в самом деле молодеют эти простые и трудолюбивые люди. Лонь чувствовал себя с ними участником великого поворота, который совершался в сельском хозяйстве страны, и теперь ясно видел, какой перелом назревает в колхозах зоны.

Дзержинский район,
1954 г.

...Тяжело сознавать, что этого прекрасного человека больше нет среди нас. Он погиб от нелепой случайности накануне первой годовщины своей работы в деревне. Но уходя из жизни, люди, подобные ему, не перестают жить. Они не забываются, оставаясь образцом для дру**гих.** Аркадий Лонь — это пример простого человека-борца, рядового нашей великой партии. И нам всегда будет дорого помнить мудрое его трудолюбие, разумно организованную волю, его улыбку, полную неугасимой человеческой любви к жизни.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1.

Нет, природа и осенью не знает печали. Глядишь и думаешь: а не самая ли счастливая это у неё пора?

За окном вагона полыхает красно-жёлтое пламя осеннего леса. У самых стёкол, смазываясь, мелькают пёстрые кружева ивняка, дальше, на пригорках охорашиваются, словно перед зеркалом, степенные берёзы. Повернувшись, они отходят, гордо унося в зелёных кудрях пряди блёкло-жёлтой седины. За ними убегают нарядные стайки совсем юных смешливых берёзок; в их хороводе вспыхивают оранжевые шелка пугливых осин; по горизонту, будто наперерез поезду, пробирается сквозь кусты синяя зубчатая череда угрюмого бора.

Природа хорошо празднует эти дни. Она хранит в себе спокойную и счастливую думу о том, что совершила на земле, рассеяв вокруг свои дары. И только человеку навевает она печаль...

Я взглянул на Егоровну. Сложив руки на животе, она смотрит на нарядный лесной хоровод безо всяких восторгов, с тихим и грустным крестьянским вниманием, смотрит и думает о чём-то о своём. Иногда вздыхает. Я заметил, что она, едва увидев за городом краски осени, сразу стала молчаливой.

Но огненная пляска леса опять отвлекла меня. Из-за кустов выскочила озорная, совсем красная, точно облитая вином, осинка и помчалась мимо. По-лесному пёстро разодетая берёза отошла от рощи и стала, будто ожидая музыки, чтобы пуститься по кругу. Один край её платья горит румянцем, другой — ярым воском, а по низу воланами идёт лёгкая зелень, тронутая желтизной. Загораживая берёзу, за окнами летят дубы с прокуренными бородами и клёны, словно освещённые изнутри.

Сердце уже ноет от нетерпения, хочется скорее на нолю — туда вон, на эту сухую дорогу, облысевшую на пригорке у сосенника; хочется бродить по притихшему лесу и дышать остуженным ароматом листвы, бродить, пока не устанут ноги и закружится от лесного хмеля голова. Остановился бы у этих осин и долго смотрел бы, как высоко вознесли они в небо свои золотистые кудри. Листья трепещут в синей вышине, как рой бабочек.

Егоровна провожает их тем же взглядом, полным молчаливого покоя и дум.

Мы едем минут сорок. Она сидит всё в одном положении, ни разу не повернувшись ко мне. У неё узкое лицо с продолговатыми морщинистыми щёками, маленький лоб и плотно сжатые бледные губы. Морщинки её по-праздничному чисты и светлы, складочки на щёках даже просвечиваются. На голове у Егоровны чёрный шерстяной подшальник с красными цветами по краям; он идёт ей, придаёт лицу то выражение чистоты и доброй скромности, с какими, помню, в молодые годы Егоровна всегда приходила из церкви. Толстую клетчатую шаль она в вагоне свалила на плечи: тяжко в ней.

Глаза её словно просят чего-то, глядя за окно. Я не пойму, что в них: тоска или просто усталость? Может, заговорить с нею? Но я вижу, что не скажет, ничего не скажет сейчас.

А вот моей матери сказала бы многое — они с детства были подругами. Дружили и потом, когда повыходили замуж, — мать в город, Алёна Егоровна — к Малаховым, в родном же селе Покровке. Она частенько приезжала к нам в Калугу и считалась у нас своей, как и мы у неё.

В последнее время Егоровна не ездила к нам года три. Я тоже давно не был в Покровке, хотя собирался туда каждое лето. И вот, наконец, позавчера утром слышу стук в дверь. Стучали не пальцем, а по-деревенски — кулаком. За дверью стояла Егоровна — та же, что и всегда: узкое личико, укутанное толстой шалью с махрами, лямки солдатского вещевого мешка на плечах и молочный бидончик в руке. Вошла, шутливо приговаривая: «Не ждали, так вот, пожалуйте вам — принесла нелёгкая старую каргу». Это уж у неё манера такая —

наговаривать на себя вместо ненужных извинений за беспокойство. Станет умываться под краном, уронит на пол две-три капли воды — говорит: «Сослепу-то налила вам тут...»

Знакомые жесты, знакомый говор.

— Ну, как вы там? — спросил я, помогая ей освободиться от вещевого мешка. Колхоз у них был самый заплошалый, так что известно: порадовать она ничем нас не могла. Но раньше на такой вопрос Егоровна отвечала со своей обычной усмешечкой и почему-то обязательно на мужичий манер:

— Да живём — портками трясём...

Я ждал и сейчас этой забавной фразы, но Егоровна перемолчала, тихонько улыбаясь.

«Э-э, что-то новое!» — догадался я, и мне уже хотелось скорее услышать, что она ответит.

— Живём-то? — переспросила она лукаво. — А вы что ж к нам ай дорогу забыли? — Глаза её смеялись. — Я уж надысь накорябала вам письмо своей куриной лапой. Получили? Ну вот. А нынче и сама припожаловала, — она отвесила иронический поклон. Потом опять вспомнила вопрос, протянула баском: «Как живе-ем!»,— и улыбка, почти озорная, какая-то ребячья, стала растягивать её сморщенные губы. Егоровна прятала эту улыбку, обтирая углы губ комочком носового платка, не то стыдясь обнажить свои пустые дёсны с двумя, как у ребёнка, зубами впереди, не то боясь показаться смешной со своей радостью. — Живём, — совсем весело и нараспев сказала она, склоняя голову на бочок. — Вот вы б теперь поглядели!

— Совсем другая теперь Покровка стала, — хвалилась Егоровна за чаем. — Кто долго не бывал — скажет: должно, заблудился. Радио поёт на всю деревню, аж в лесу слышно. Алектричество ведут — там-то, где дубы, за оврагом-то... Там ведь теперь целый город строится — мэтэес будет новая — оттудова и нам свет дадут. Сказал председатель — к Октябрьской будет... Вот дождались председателя — дай, господи, доброго здоровья, — она положила три пальца на лоб и, строго глядя в пустой угол, перекрестилась.

— Не зашибает?

— Самое главное из рамок не вылезает — не сглазить бы, ей-богу. Ну и насчёт этого.,, тоже не падкий…

Мне не верилось, что это говорит Егоровна. О своём колхозе она обычно отзывалась в самых обидных и насмешливых тонах: «Наш кавардак...»

Потом она стала рассказывать о Нинке, дочери своей, которая работала дояркой. Это было, пожалуй, самое поразительное из всего, что я слышал. Нинка... Та самая Нинка, некрасивая и неприметная, которая работала больше всех и которую годами не замечали в доме. Поела ли она, поспала ли — этим обычно никто не интересовался. И вот теперь Егоровна рассказывала о ней, словно о другой какой-то дочери — знатной и любимой. Нина выступает на совещаниях, её портрет висит на площади в райцентре, ей часто дают премировки, часов набралось — хоть на обеих руках носи, — Володе, брату, одни подарила.

Я слушал и злился на себя. Чёрт меня подери! Называюсь профессиональным газетчиком, езжу по всем районам, превозношу каждую, даже маленькую, перемену в незнакомых сёлах, а тут целый переворот в родном селе, где у меня безграничные возможности сравнивать — что было и что стало, а я ничего не подозреваю! В Покровку. Немедленно в Покровку!

И вот мы едем с Егоровной в вагоне, идём знакомой тропкой по лесу...

На половине пути между станцией и нашим селом, под старым дубом, где зарос травой последний не отправленный на переплавку танк со стёршимся крестом, кто-то сделал из жердей скамейку. Тут перекур у всех путников. На площадке, вытоптанной перед скамейкой, белеют окурки, лежат спелые полосатые пульки желудей.

Изредка, падая, жёлуди с насмешливым равнодушием щёлкают по спине мёртвого чужеземного чудовища, заблудившегося в наших лесах.

Егоровна, отдыхая на скамейке, водит своей палкой по траве. Я слежу за ней. Конец палки прошёл между двумя желудями, раздвинул их и покатил в сторону. Жёлудь застревает в траве,

— Прорастут — дубки будут, — не отрываясь от своего занятия, сама с собой разговаривает Егоровна. Я догадался: отодвигает, чтобы потом дубки не мешали друг другу расти.

— Вон их сколько, — это она говорит уже мне, указывая глазами на жёлуди, рассыпанные в траве. — Ишь, насеял. От одного целый лес подымется...

Меня какая-то своя мысль занимала, и я сказал, не подумавши:

— Хорошо, когда у человека так: прожил и что-то после себя оставил. Плоды жизни.

— Всякому так-то охота, Алексей Петрович, да не у всякого выходит, — глаза Егоровны вдруг стали сердитыми. — Иной ведь всю жизнь, как лошадь... ни дня, ни ночи... поесть некогда было. А что получилось? Плоды... Где они? Вон... в трубу вылетели... Кто виноват-то?

В прохладном воздухе стоит лёгкий винный аромат, кружатся, опускаясь на землю, жёлтые листья.

Я даже не нахожу, что ответить, настолько она огорошила меня. Утешения ей не нужны. Она лучше меня понимает: то, что прошло, теперь тяжело поправить. И мне больно становится от этой страшной несправедливости. Как это могло случиться? Всю жизнь рвалась куда-то, убивала силы без меры и жалости, порой истязала в труде и себя, и детей, ей бы как жить-то надо! Но вот уж и осень её наступила, а ей не на что оглянуться назад...

2.

Она стала рассказывать тихонько, будто для себя, перебирая в памяти, как всё получилось, и не спеша перекатывая палкой жёлуди .

— Сперва мне всё думалось: змея эта мне жизни не даёт — свекровушка косоротая — не тем будь помянута. Помнишь Лукерью-то, Алексей Петрович?.. Ты ещё маленький тогда бегал. У-ух и ведьма была — не приведи бог. Над каждой каплей, бывало, трясётся, гундосит: «Хты наживи сабе — ещё не наживала, не знаешь!» И всё она что-то хоронит, всё украдкой... Всё у неё под замком: сметана, масло, яйца. Сама продаёт, покупает себе сахар, конфетки. Сидит, бывало, за чаем, и сосёт украдочкой из кулака... Чтоб у тебя уж слиплось там всё от этой сладости!.. Как же, она ж хозяйка в доме, вроде барыни, а ты «ещё наживи сабе»! Оно, конечно, и у неё в молодости жизнь была — не мёд... «Дай, мол, хоть под старость поживу».

Никогда не забуду: первый раз после свадьбы собиралась я к обедне. Надела свои наряды из приданого, шёлковый подшальник повязала, лиловый, с махрами, — крестный дарил, из Одессы тогда привёз; то-то хороши подшальники-то были! И сейчас всё берегу... Сапоги обула. Как закричит моя косоротая, как застучит в пол чапельником:

— Чего напялила-а?! Ещё не знаешь, как они достаются? Люди вон побогаче тебя, да сапоги-то до церкви под мышкой несут!

Я ей по-мирному: «Тут, говорю, ведь недалеко, мам. Я бережно». И иду себе. Дак у ней ажно дух перехватило, губы затряслись, побелела вся — плюхнулась на скамейк у. До самого вечера сопела, швыряла чем попадя в кур и в кошек. Вечером сели ужинать — застучала костлявым-то кулаком по столу — чистая баба-яга:

— Ты, Андрей, окороти свою ведьму!

Андрей молодой тогда был — только с гражданской войны пришёл — проворный, вспыльчивый, а добрый был. Весь день, бывало, носился с вёдрами, с шайками и всё пел. «Иже херувимы» любил петь. К поросятам бежит, к цыплятам — всё «Иже херувимы». Сам себя слушает: бас у него сочный был, налитой... Услыхал материны сломи — на меня глянул: «Что?» Я молчу. Угнулась. Та опять — костяшками по столу:

— Ты ей окорот дай! Знает — что!

Я сказала — вот, говорю, обулась без спросу. Андрей никогда на мать не ругался, как другие есть, а тут не стерпел и — на обеих:

— К чёрту вас, хватит! Чтоб я не слышал этого в доме!

Старая так и захлебнулась. С той поры при Андрее молчала — боялась. Ну, уж как его нету — ну, тут, Алёна, держись!

Раз, помню, пахать я собиралась. Роса была холодная, Аж обжигает. Думаю: что я им дура, что ль — босиком ходить? Нашла на потолке новые лапти, села оборки вдевать. Как налетит, как рванёт у меня эти лапти:

— Сперва сплети сабе!..

О-ох, Алексей Петрович! Сколько я обид от неё перекипела — один бог знает. Ведь и не лентяйка я, и соображенье у меня вроде есть, минутки свободной не видела. Люди ещё спят, а я уже бегу с лопатой — думаю: успеть бы до пастуха хоть одну яму вырыть — сад задумала посадить. У отца сад-то был хорош. Всё мы с ним, бывало,

там копаемся. Любила. Ну и тут — думаю: Дети пойдут— надо. В обед с пахоты приедешь, мерину отдых дашь, а сама — мешок на плечи — бежишь перегной под яблони таскать. Сколько я этих мешков перенянчила! А та ведьма только косится — на кой ей, старой, сад. Она, кроме печёной лесовки, сроду никакого яблока и не кушала!

А с соседями как жить приходилось, господи! Это вот теперь стало вроде по-хорошему, когда колхозы начались. А то ведь, бывало, только и слышишь: там дерутся — чего-то не поделили, там бабы визжат благим матом, один сулит избу поджечь, другой кричит — «Я тебе устрою — вся твоя скотина поколеет». Послушаешь: царица небесная, это что ж так люди-то мучатся?

Ну, один-то сосед — кум Алёшка Дронов — был так ничего. С этим ещё уживались. Ему — завей горе верёвочкой: была б какая-нибудь шабашка да весёлая компания! Всё ходил — голыми коленками сверкал. А бабы — Анюта его преподобная, Федосья-старуха — целый, бывало, день в холодке сидят под берёзкой — в головах ищутся. И вечно по соседям христарадничали: «Дай, Алёнушка, взаймы мерочку картох». Ну, отдавать — это у них привычки такой не было. С Дроновыми редко у нас скандалы получались. Из-за кур всё больше. Огород загородят через пятое на десятое... Да у них и всё-то! Зима ли, лето ли — дроновский двор стоит раскрытый — рёбра всему свету на показ, изгородка — «милости просим», а курам и дай бог!

Чего нам было с Алёшкой делить? А вот с Никанором... Ты-то, наверно, не помнишь, какой он тогда был, Никанор-то. Зверь зверем. Глазищи ястребиные, борода сковородкой, кривоногий, ухватистый — так, бывало, и норовит хапнуть что-нибудь. Для себя-то он был башковитый хозяин! Он и по пчёлам понимал, и по клеверам. Помню — даже собирался конную молотилку покупать. Но что ж у них в доме делалось, Алексей Петрович,— это не дай и не приведи лихому лиходею! Как утро начинается — и пошла у них война. Там и невестки и свекрухи — и воют и дерутся, одна блажит: «Не дам!», другая — «Чтоб ты подавилась!», вцепятся друг дружке в космы и клубком выкатываются на крыльцо — чисто что бесплатный цирк, вот, ей-богу!

Ну, а уж когда с нами заводились — это страх господень.

Один раз, помню, — землю тут-то по едокам разделили — у помещицы отобрали, у церкви. У кого едоков-то много — земли досталось порядочно. А всё вроде ещё побольше хотелось: у жадности утроба ненасытная.

Андрей-то мой возьми да и отхвати лаптя три от Никаноровой полоски. И на что она ему — провались она совсем! Кривоногий ещё вон откуда, издали разглядел всё своими ястребиными глазами, наскочил на Андрея — сам аж задыхается и — за грудки. Обмерла я, не помню уж, кик разнимала, что говорила — глаза у них кровью налились, оттащила Андрея — стоят они бледные, гвоздят и в бога и в печёнку... Ну, слава тебе господи, это уже гром безопасный.

Дня через два глядим: посадил Никанор яблони. И посадил около самой нашей изгородки. Это, стало быть, когда они вырастут, будут затенять у нас все крайние гряды. Андрей как глянул — губы побелели, сам побелел — к Никанору. Подскочил к окнам:

— Порублю-у-у-! — кричит. — И тебе, хапуга, голову снесу! Помещиком хочешь быть?

Я — за ним. Из-за угла палисадника Лукерья высунулась, затрясла кулаком, повторяет как эхо:

— Помещиком хочешь быть?

Никанор не спеша выступил на крыльцо. Бородатый, |доровый, без пояса, без шапки — вышел и что-то жуёт:

— А ну-ка попробуй.

Андрей ещё больше побелел, засуетился, приплясывает — сейчас аж чудно кажется.

— Всё снесу, — кричит. — Ишь, помещик какой!

Бабка из-за палисадника себе:

— Помещик какой! Ишь!

Тут на крыльцо Никаноровы бабы посыпались. Дарья Никанориха – она померла теперь — костлявая была, носатая, длинная, как жердь, кричит:

— Вам всё ма-ла-а!

Я тут не сдержалась, говорю:

— Да есть у вас совесть-то, люди?

Весь Никаноров базар как загалдит на меня:

— Мало на тебе, дура, катаются-а!

А Дарья ещё возьми да каркни:

— Чтоб у тебя детей не было!

Заморгала я, помню, хотела устыдить злую дуру, а слёзы полились, махнула рукой: бог тебе судья!

Взяла меня Лукерья под руки — увела. Ласковая такая стала.: И к столу-то меня сажает, и чаем-то меня потчевает, откуда-то из-за пазухи достаёт кусочек сахару:

— Попей, Алёнушка, с сахарком. Бог с ними, ладно...

На душе у меня стало тихо, будто солнышко выглянуло после грозы. Сижу я и думаю: как ни тяжко бывает, а есть и меня кому пожалеть — не только Андрей, вот даже она...

Ну, недолго она меня своей лаской тешила. Утром я уж чуть в петлю из-за ласки этой не полезла.

Проснулась я утром — селёдочки мне захотелось. Вот донимает меня запах селёдки, слюна забьёт, затошнит даже. Вспомнила, как вчера меня свекровушка пригрела, и думаю: «Попрошу, пусть купит». Под её замки я ни-когда нос не совала — у меня такой и привычки не было, — но себе на уме: есть же там и моя какая-то доля — куда ж я силы-то убиваю?

Подоила я корову — бабка около печи топчется, кувшины моет. Подошла я, да так что-то робость меня охватила, стою я — никак не осмелюсь сказать, только сплетаю и расплетаю в пальцах махорчик от платка. Потом уж думаю: а! чужое, что ль, прошу?

— Мам, — говорю, — у нас деньги есть?

Бабка и не оглянулась — перестала мыть кувшин, подумала:

— Какие у меня ваши деньги?.. Ты у мужа спрашивай — у меня ваших денег нету.

Лучше б она меня ударила!

— Но ведь ты, — говорю... — мы ведь масло продавали и яйца...

А сама уж и не рада, что говорю. Гляжу: щёки у неё взялись розовыми пятнами.

— Вот что я тебе скажу, голубушка. — Это она мне. А голос дрожит, как будто вся продрогла на морозе. — Твово в этом доме покамест ещё ничего нету. Это уж тебе было говорено.

Вышла я на улицу — ногами заплетаю. Опостылело мне сразу всё: дом этот, чуланы, бабка согнутая и рябый её сарафан в тыщу сборок — с ключами на пояске. Не мил стал и Андрей — гаркал он и на правого и на виноватого, лишь бы не разбираться в бабьих делах. Думаю: будьте вы прокляты! Ворочай, гнись, а спросить ничего не смей...

Ну, слава богу, в петлю я не полезла — на мне уж и так хорошая петля была надета. С того дня я, думается, об одном только бога молила: скорей бы прибрал он эту старую ведьму. Тогда б я хоть вздохнула свободно... Тогда б я зажила...

Ну, дождалась. Пришёл этот час. Уж думала, что никогда его и не дождусь... Вернулась она вечером из бани — под Благовещенье как раз — и еле-еле через порог-то перелазит. Подхватила я её под руки, слышу: «За батюшкой, — говорит, — пошли. Плохо мне». Привели батюшку, — в памяти ещё была. К утру и память потеряла. Через три дня — похороны.

А у меня уж двое ребят — Мишке восемь сравнялось, Володе шестой шёл. Спрашиваю, помнится, у Володи – с погоста пришли – говорю:

— Что ж тебе, Володя, жалко бабушку-то?

Лёгонький был такой мальчик, шейка тонкая, а глаза серые, резвые — отцовы. Он мне и отвечает:

— У, жадоба-то!

— Что ты, говорю, сынок! Нешто можно так на бабушку?

А у самой в душе будто бесы свистят: «Вырвалась, вырвалась, вырвалась!»

Ан, оказывается, вырвалась — да не убежала...

Ох, Алексей Петрович! Пойдём потихоньку — ещё ведь далеко. Пока доплетёмся – всю жизнь можно вспомнить. Так-то вот начну иной раз ворошить память, думаю себе: господи, да за что ж это человек так мучается?..

3.

На ходу она говорила с долгими перерывами, часто останавливалась, чтобы молча передохнуть, и рассказывала не всё по порядку, а что приходило на ум.

Но я хорошо помнил её прежние рассказы о том, как она жила «на свободе» и была «сама хозяйка», многое видел своими глазами и теперь больше вспоминал всё это, чем вдумывался в её отрывочную речь.

Даже мальчишке было заметно, как вольно почувствовала себя Алёна после смерти бабки Лукерьи. Она мне напоминала птицу, которая вырвалась из недобрых рук. С того дня Алёна, казалось, не ходила, а летала от темна до темна.

Только пропели третьи петухи — она уже мчится с вёдрами на колодец. Быстро-быстро перебирает в руках верёвку,

полное ведро взлетает над срубом, как пробка, — раз, другой — и, заплёскивая подол, Алёна исчезает за углом палисадника, а через минуту бежит снова. Ещё не рассвело как следует, а у ней корова подоена, в печи всё кипит. Алёна прогоняет скотину в стадо, заглядывает в печку. Повернёт чугуны, бежит, прихватывает в сенцах севалку с зерном, лётом соскакивает с крыльца и бойким свистом сзывает кур:

— Тьфююк-тьфююк-тьфюкж!

Куры бегут со всех концов, хлопая крыльями, догоняют её, движутся позади длинным шлейфом, а она шагает стремительно и властно, и подол её бунтарским флагом развевается над куриными головами.

На дворе уже визжат и прыгают на перегородку проголодавшиеся свиньи.

— Ми-иш, а Миш! — ласково тянет Алёна, влетая в избу. — Встань, сынок, лучку нарви.

Ей приходится лукавить. Не скажешь сразу: «Поди, сынок, свиньям травки нарви, молошничку— вон на картошках». Девятилетнему ребёнку и так-то рано просыпаться неохота, а услышит, что за травой по росе надо лезть, — и подавно расхнычется спросонок. Мальчик мычит за печкой, говорит «угу» и опять засыпает.

— Встань, сыночек, помоги мне, а то к отцу надо скорее ехать, — не отстаёт мать.

У неё с вечера задуман ворох дел. Андрей ещё третьего дня ушёл в Дальние лески на покос. Теперь за травой нужно ехать. Если пораньше тронуться — за день можно две ездки сделать. Вот бы хорошо-то! Бери, пока погода! Картошку ещё надо распахать, но это потом, главное — траву скорей из лесу вытащить — у двора-то с ней легче сладить. Но отсюда нешто скоро выберешься! То, бывало, тут Лукерья — и сварит, и свиньям даст, и огурцы прополет, а теперь самой надо в каждый след...

— Вставай, сынок, вставай, — некогда, — уже построже, понизив голос, просит мать.

Мишка, сопя и протирая кулаками глаза, белоголовый, но смуглый, идёт к загнетке, останавливается против огня и чешет одной ногой другую, повыше пятки. Он спал прямо в холстинных штанишках; под коленками они собрались в гармошку и не выпрямляются. Шея и руки у Миш-

ки усеяны красными точками — блохи накусали. Он слышит, как визжат на дворе свиньи, и догадывается, что не из-за луку мать его будила. Молча идёт он в сенцы, берёт плетушку...

— Сыночек! — всплёскивает руками мать, не зная, как ей улыбнуться ему, когда он приносит полную корзинку молочая. — Вот умница-то, помощничек-то у меня!

Мишка улыбается, показывая широкие лопатки своих новых зубов:

—Я потом ещё нарву, мам!..

Солнце уже высоко, на завтрак у Алёны нет ни минутки.

— Ешьте тут молоко, — кричит она ребятам, запрягая рыжего мерина, — картохи доставайте в печке... Потом роса сойдёт — копёшки вон те растрясите. — На лужайке, перед сараем, зелёными шапками стояли небольшие копны травы, которую Алёна вечером привезла с луга. — Да глядите, с огнём не балуйтесь — боже вас упаси!

Она прыгает в повозку с куском хлеба, с парой варёных картофелин, с вожжами и хворостиной в руках. Стегает мерина — «Н-но, Васёк!» Мерин выносит с лужайки на дорогу, повозка гремит; Алёна, сотрясаясь, чистит картофелину и последний раз оглядывается на Мишку, который смотрит ей вслед с крыльца и кивает головой.

Мишка не любит растрясать сырую тяжёлую траву, но ему так хорошо на душе от горячей утренней похвалы, что он спешит приготовить матери радость. Он бежит в горницу и тихонько уговаривает Володю проснуться. Володька ещё плохой помощник на работе, он только тужится, а охапочки берёт малюсенькие и то далеко их не носит и бросает пластами — растрясти не может. Но Мишке с ним веселее.

Они едят молоко с картошкой, бегут на лужайку, прыгают в копны, кувыркаются, а растрясать им неохота. Уставившись на крайнюю копну, Мишка что-то думает и говорит:

Были б такие какие-нибудь руки — здоровые-прездоровые — железные. Только б р-раз эту копну... Всю! Потом ка-а-к з-запустить по траве — так бы и полетела до самого вон до крыльца и сама б рассыпалась. Вот это б да, Володь, правда?

Тоненький остроносый Володька растопырил ресницы серых отцовских глаз. Рот у него открыт: Володька поражён лихой фантазией брата и только шепчет:

— Ага...

Вздохнув, Мишка через силу обнимает копну. Коротенькая рубашонка его задирается, трава щекочет оголившийся живот и руки, но он сволакивает верхний пласт и тащит его подальше на свободное место. Володя, кряхтя и тихонько приговаривая что-то, тянется за ним.

Скоро становится жарко. Рубашки у ребят липнут к телу, животы и руки, наколотые сырой травой, зудят. Володька стал похож на подбитого цыплёнка. Он сходил попить и сел на ступеньках крыльца. Теперь ни за что больше не станет помогать — Мишка уж это знает. А одному плохо. Нижние слои копён слежались пластами — поди-ка их растащи! Мишке обидно и скучно. Он думает о том, что лучше б не он, а Володька родился первым. Первому всегда тяжелей. И попадает здорово.

— Ми-иш! — слышит он вдруг. Это кричит Серёжка Никаноров. — Пошли купаться!

Мишка отворачивается и отмахивается рукой. Им хорошо, Никаноровым, — у них вон сколько народу-то, купайся хоть целый день.

— Володь, я скажу матери, как ты сидишь, — сердится Мишка. — Что мне, больше всех надо, да?

— Ну и говори.

Пласт не тянется, Мишка пыхтит, откидываясь назад, и вдруг падает с вырвавшимися клочьями травы в руках. Звонкий Володькин смех стегает его по самому сердцу. Мишка вскочил, бросился к крыльцу:

—Ты смеяться, да?..

Звенит оплеуха, в ответ Володька бьёт ногой под грудь, и оба маленькие труженика, измученные и обиженные, ревут у крыльца...

Тем временем Алёна ехала, поглядывая на солнце. Сенокос... Ох, свалить бы за погоду эту гору с плеч! Сейчас Алёна не думала, какие ещё горы ждут её впереди и сколько их, а ждала того сладкого облегчения, которое наполняет покоем душу, когда видишь, что гора с тебя свалилась. Ей всегда казалось, что впереди — лучше. Это, пожалуй, самый драгоценный дар, который дан человеку, — надежда. Иначе что вело бы его вперёд? Вот он одолел одну преграду, вторую, дальше всё труднее, а он продолжает идти и надеяться: скоро станет хорошо.

Алёне светлее не становилось. Но она пока не замечала этого: слишком велика была её долгожданная радость. Алёна не шла, а летела навстречу лучшему, и даже если бы ей сказали, что она, стремясь туда, лишь натягивает на себе петлю, ни за что этому не поверила бы. Иной раз она кляла свою суету, ругалась, что не знает ни дня ни ночи, но чувство хозяйки пересиливало всё. Она не видела самообмана, и тот час, когда должна была разглядеть его и увидеть себя во власти более жестокой и неумолимой, чем власть старой Лукерьи, этот час не мог придти скоро — он то приближался, то отдалялся...

В лесу по прошлогодним заметкам Алёна скоро нашла свой пай. Андрей обрадовался жене, будто она приехала совсем нежданно. Он сидел перед шалашом с жестяным чайником, в нижней рубахе, прилипшей к спине и выбившейся из брюк. В щётку жёстких стриженых полос и усов его набилась сенная мелочь, на залысинах блестели капельки пота. Он уморился — Алёна видела это, но встал ей навстречу и заговорил, смеясь:

— А я сижу и думаю: приехала б моя Алёнушка, да чарочку бы привезла... С устатку бы!

Алёна послушала, усмехаясь, и, склонив голову к плечу, ответила тоже шутливо:

— А я, малый, думала — ты мне тут какой-нибудь медовухи сообразишь, право!.. Сала вон привезла.

Докосить оставалось немного — один угол, и пока Андрей ел, Алёна, схватив косу, побежала туда, перескакивая через ряды. Она так настроилась сделать нынче две ездки, что если бы это не удалось — телега сломалась бы или дождь ливанул, — она б чувствовала себя гак, будто её связали верёвками по рукам и ногам и бросили в яму.

Нежданной помехой оказался этот недоношенный угол, она спешила «смахнуть» его.

Сначала, когда в кустах ещё была роса, косилось легко. Порою Алёна чувствовала, что надо бы остановиться, поточить косу, но останавливаться не хотелось. «Вон до того кустика»... — задумывала она и шла дальше. Но когда подходила к кустику, хотелось обкосить его, а за ним трава оказывалась такой сочной, что коса и без точки брала её легко. Ну, а там и конец ряда — вот он.

И у Алёны хорошо делалось на душе, когда она проходила весь ряд без остановки.

Потом, в жару, стало труднее. Коса быстро тупилась, овода роем гудели вокруг потного тела и липли к ногам. Алёна начала себя обманывать — пошла не по прямой, а стала выкашивать островками. Облюбует кусок, густо заросший кустами, — косить там мало, а пройдёшь по всему — и сразу заметно: вон как подалось — клин чуть не вдвое укоротился. Так веселее. Потом, увлёкшись, она вклинивалась куда-то в середину делянки, выкашивала её, и вот уже видно: некошеная часть ещё кажется большой, но середина у неё пустая. Если скосить правый островок, то сразу посветлеет между кустами почти на всей делянке. Тогда останется только небольшой левый островок — и всё...

Когда вернулась к шалашу, неся косу в опущенной руке, она не чувствовала ни усталости, ни голода — ей просто было жарко и хотелось пить. Андрей уже натаскал из-за болотины к телеге с воз травы, белая рубаха его далеко мелькала между кустами.

—Уморилась? — спросил он, когда подошёл к жене.

— Давай, Андрюша, скорей накладывать, а то не управимся мы нынче, — вместо ответа заторопила она его. — Эх, за погоду бы всё вывезти!

Андрей подавал, она стояла на возу, раскладывая. Воз получился здоровый, его увязали крест-накрест, а опоясать — верёвки не хватило. В дороге на каждом косогоре Андрей подпирал его вилами, а Алёна вела Васька под уздцы.

Дома пока свалили, пока разложили траву в мелкие копёшки, чтоб не начала согреваться, — дело к вечеру. Со вторым возом приехали в темноте. Намучились с ним: завалились перед мостом, поднимали-поднимали — у Алёны даже живот схватило. Спасибо, мужики помогли.

В избе огня не было. Ребята уже спали какой где, овец и корову загнали — они стояли во дворе. Только телёнка не было. На скорую руку Алёна подоила корову — побежала искать бычка.

Ночь шла чистая, звонкая. Во ржи картаво лепетал перепел, из села доносился затихавший говор, скрип возов. За речкой обиженно и одиноко ревел хрипатый телёнок, а девичий голос звал его протяжно;

— Ми-ишка, Ми-ишка-а...

Над оврагом около ржи Алёна остановилась, запыхавшись, и тоже позвала:

— Валетик, Валетик, Валети-и-к!

Она постояла, ожидая... Лес затих вдали, поле дышало вольно, легко. Вкусно пахло поспевающей рожью. Захотелось вдруг, как в детстве, вдохнуть этот сырой запах глубоко-глубоко, чтоб даже зашумело в голове. Живо вспоминалось, как босой девочкой она стояла тут внизу, за орешником, а соловушка сочно и звонко чмокал, разливал ручейком свою сладкую песню по росе. Алёнка слушала и, кажется, сама сливалась с этой трелью. Ничто не тяготило её тогда, и жизнь, всё будущее казалось песней, которая всегда будет литься вот так свободно, как течёт в ночи песнь маленькой невидимой пташки.

Теперь словно буря налетела на усталую, разбитую Алёну. Сердце заныло, запрыгало и сжалось. «Где это всё? Или так и должно быть, чтобы человек мучился всю жизнь?»

Всё кругом живёт просторно и мудро, поёт свои песни, дышит вечной свежестью природы и совершает великий труд, не зная изнеможения. Так почему же человек?... Вот она стоит... Уж ночь, недалёк и новый день, а она всё никак не стряхнёт с себя тяжкий груз вчерашних забот. И сил у неё нет, и ничего-то уж ей не хочется... Упала бы тут и не встала. А запах ржи уже веял ей в лицо изнуряющим зноем близкой страды, спина наливалась густой болью, упали набрякшие руки, будто вспомнив, что их ждёт серп и дубовый молотильный цеп.

И жалко ей стало себя, глазам сделалось горячо. Алёна вдруг зашептала громко: «Гос-споди, прости меня грешную» — побежала прочь, крестясь и заглушая в себе непрошеные чувства.

4.

Через три недели Алёна надорвалась.

В тот день ребята бегали около овина, шлёпая босыми ногами по расчищенному току, и хоронились в душистых снопах, составленных шалашиками. Ток они два дня расчищали лопаткой и сечкой, спины и руки у них пыли, но зато как хорошо побегать теперь тут среди снопов! Ребята видели, что сделали большое дело, что за это отец обязательно

должен пустить их купаться. Но он сказал, что надо ещё расчищать, до самого сарая, а купаться — вот он когда-нибудь вычистит им против бани сажалку, — тогда пусть хоть так и сидят в воде. Ребята захныкали.

— Да-а, как другие ребята дак — каждый день, а нам дак всегда нельзя...

Отец рассерчал, прикрикнул на них, но мать перебила, погладила ребячьи головы и пообещала:

— Ну-ну, вот перевозим снопы — тогда сходите себе...

Она уехала с отцом, а немного погодя Мишка увидел, что отец, испуганный и взъерошенный, вёл в руках Васька и поминутно оглядывался в пустую, без снопов, телегу. На ток он не завернул — спешил к дому. Мишка разглядел, что в телеге лежал кто-то.

— Мать! — вскрикнул он и побежал следом.

Повозка остановилась около крыльца.

У матери лицо было серое и губы спеклись, она лежала с закрытыми ввалившимися глазами, совсем не похожая на себя. У Мишки вдруг стянуло в горле и часто-часто заморгали глаза. А Володя смотрел на неподвижную мать с молчаливым изумлением — неужели это она только что гладила их головы?

Отец, никого не замечая, осторожно поддел свои руки под спину и под колени матери и понёс её в горницу.

— Ребят... — простонала Алёна, — ребят не пускайте...

Мишка обо всём догадался. Он много раз слышал рассказы о том, как беременные бабы надрываются. Одна даже залилась кровыо и померла.

— Наверно, опять у телеги зад заносила, — сказал он хмуро.

Володя только качнул головой, не сводя глаз с двери.

Отец вышел оттуда обмякший, виноватый, чёрные щетинистые усы его жалобно торчали во все стороны.

— Вы пойдите на ток, — сказал он ребятам хрипло, будто сам заболел, — а то там, наверно, куры... — И зачем-то прибавил: — А я за бабкой Анисьей съезжу.

Тихая бабка Анисья всем в Покровке правила животы и у всех была повивалкой. Она и Мишку принимала и Володю — ребята это знали. У неё были всегда начисто подстрижены ногти, а руки после мытья она не вытирала — просто держала их на весу.

Когда она приехала, ребята побежали на крыльцо и долго не уходили — ждали, что будет.

Перед вечером бабка вышла из горницы в сенцы, попросила Андрея полить на руки. Сказала тихо:

— Слабенькая девочка... — Может, и выживет, бог даст, семимесячные выживают...

— Алёна-то как? — глухо спросил Андрей.

Бабка Анисья помолчала, и это было страшнее самого нехорошего ответа.

— И куд-да лезет, спрашивается?— стонал Андрей,— Всё спешит, за всё хватается. Да её сам чёрт никогда не переделает, эту работу... Дюже плохо?

— Плохо... — подтвердила бабка. Однако добавила: — Ну, может, бог даст, поднимется. Будем помогать.

Алёна не поднималась долго. Андрей сам доил корову, топил печку, кое-как перевозил с ребятами снопы. Спать ему не приходилось. Он оброс чёрной щетиной, крупный нос его стал ещё больше, глаза ввалились.

Он не управлялся — Алёна догадывалась об этом по долгому визгу свиней за стеной, по тому, как настырно лезли голодные куры в сенцы, как Андрей швырял всё и ругался то на корову, то на ребят. Она прослушивала каждый его шаг, слышала, какое дело он делает не так, и лежать ей час от часу становилось невмочь. Думается, дошла бы как-нибудь туда по стенке, да поправила.

— Самовар-то у тебя ай не налит, — крикнула она как-то ослабевшим голосом.

Андрей просунул к ней в дверь своё заросшее лицо:

— Что ты?

— Да самовар-то... без воды, что ль? Жудит как...

— Ах, мать его! — спохватился Андрей, скрываясь за дверью. — Распаялся, сволочь! — В избе загромыхала самоварная труба.

С утра до ночи Алёна слышала, как на всех токах в селе топотали цепы. Люди, наверно, кончали молотьбу, а у них, у Малаховых, ещё и не начато. И вдруг словно игла вонзилась в сердце: «Да ведь рожь-то сеять пора! Как же я это забыла? А семена... семена-то ещё в снопах! Господи, а там подпахивать надо. Когда ж всё это? Овёс пора косить! Гречиха, наверно, подходит».

И Алёна мысленно бежала в поле, бежала всё скорее, скорее, будто навёрстывая упущенные дни; ноги у неё

сами торопились, и сердце начинало стучать тревожно и часто.

— Г-господи, что ж это за мученье! — застонала она. — Видно, и не сдохнешь спокойно.

Плоха была старая Лукерья, тяжела была её власть. Но старуха и слова бы ей не сказала сейчас — ничем не потревожила бы. А есть, оказывается, сила позлее Лукерьи. Эта покою не даст, эта поднимет... Эта не отступится, пока в гроб не вгонит!

Подвязав живот полотенцами и тёплой шалью, Алёна попробовала потихоньку сползти с кровати. Вот ноги её коснулись пола. Алёна хотела встать на них и обмерла. Она почувствовала, что это были не её большие крепкие ноги, а махонькие, слабенькие ножки той новорождённой девочки, которая за все дни ещё ни разу не покричала. Эти тоненькие ножки дрожали под нею, готовые вот-вот переломиться.

Алёна постояла так, навалившись грудью и локтями на кровать, подождала. Ноги будто чем-то налились, вроде покрепче стали. Держась за кровать, она сделала шаг, постояла, ожидая, когда утихнет в голове шум, и переступила ещё раз. Согнутая, добралась до двери, держась обеими руками за скамейку.

В сенцах, когда она переступила порог, лицо её осыпали холодные иглы; оно онемело, и что-то почти невесомое посыпалось со лба. «Пот» — догадалась Алёна, теряя сознание. Она ухватилась руками за спинку стоявшей тут самодельной деревянной койки и подождала опять. Тут её увидел Мишка.

— Что ты, мам? — испугался он. — Зачем ты?

— Ничего, сынок, — выдавила из груди Алёна. — В избу меня... помоги...

Мальчик испуганно взял её за руку. Мать оперлась на его плечо, пошла.

В избе она села на лавку и вытерла кулаком свои помертвевшие губы.

— Свиньям-то, ай не давали?

— Травы только...

— В котле-то на полу — что там? Картошки, что ль? Потолки-ка их, сынок. Вон толкушка за вёдрами. Или подкати ко мне котёл-то сюда — я сама...

— Что ты, я сам! — заспешил Миша. — Бабка тебе и вставать-то не велела — тебе ещё попадёт...

Толкушка у него вязла в картошке, — котёл то и дело валился от толчков на бок, Алёну подмывало встать и сделать всё самой.

В это время в избу вошёл Андрей — босой, без шапки, давно не стриженный. Молча глянул на жену, на сына, сердито бухнул:

— А ну-ка! — и опять отнёс Алёну в горницу.

Всё-таки на другой день она опять встала. Держась одной рукой за лавку, за печку, она другой потихоньку прибирала в избе, перемывала котлы и кринки. А ещё дня через два поплелась на ток.

С той поры она даже в жару носила валенки, ходила слегка согнувшись и всегда подвязывала полотенцем живот.

Как-то осенью, когда рыли картошку и по погоде всё ещё молотили рожь, Алёна пришла домой, вымокшая под дождём, злая, и сказала мужу:

— Никанор работников хочет нанять. Себе нанять бы что ли?

Она не знала, куда ведёт эта дорога, и спокойно пошла бы по ней. Сил больше не было. А те, что она так безумно растратила, не принесли ни счастья, ни большого достатка. Что ж, жить так, как кум Алёшка? Это не жизнь. Никанор — не дурак. Надо нанять работников.

Но жизнь перекрыла эту дорогу.

Однажды Андрей вернулся вечером со сходки взбудораженный и закудахтал, хлопая себя по бёдрам и срываясь с баса на визг:

— Андрюха зажиточный, а! Скаж-жи пожалуйста!.. Своим горбом... Ворочали, ворочали — зажиточный! Чуть не кулак. Во-о попал-то, а?

5.

С самой осени село шумело разговорами о колхозе.

Алёна Малахова ничего о нём толком не знала и отмахивалась шуточками.

— Да вам, жеребцам, чего ж! — высмеивала она в лавке молодого председателя сельсовета, своего родственника Митю Буреева. — Загоните всех под одно одеяло — на что ж лучше!

Буреев хохотал, девки стыдливо отворачивались, а Алёна хитровато добавляла, вспомнив, как Митя встретился ей на рассвете у колодца — шёл со свидания:

— А то ведь хлопот-то сколько! Гляжу — перед утром: идёт расстроенный. Спугнул, стало быть, кто-то соловья. А может, ветка обломилась...

Алёне нравилась такая шутка — иносказательная, тихая и с перчиком.

Но дома она больше молчала. Ходила неторопливо, всё будто прислушиваясь к чему-то.

О колхозе в семье старались не говорить.

— Может, ещё пронесёт... — сказал как-то Андрей.

Он целыми днями носился по дому с вёдрами, с шайками, походя затрагивал и кошек и поросят, дурашливо картавя с ними и придумывая им разные забавные прозвища. В люльке барахталась крошечная девочка — её назвали Ниной. Он и её с тем же азартом тормошил всякий раз, коверкал её имя:

— Ни-ни-нюка, а Ни-нюжа! — И сам хохотал, визжа и захлёбываясь от удовольствия, когда она улыбалась и ловила его ручонкой за нос.

Андрей догадывался, что близок день, который встряхнёт и перевернёт всю их жизнь, и словно избегал встречи с ним. А у Алёны было другое. Она ждала этого дня с сомнениями и беспокойством, и он всё-таки пришёл.

Утро было жёсткое, морозное. Берёзы скрипели на ветру промёрзшими сучьями.

Взвалив на спину большую плетушку с сеном, Алёна шла по стёжке от сарая ко двору. Шла она тяжело, нагнувшись лицом к коленям и цепляясь левой варежкой за снег. Недалёк путь — годочка два назад Алёна проходила его незаметно с полными мешками картошки, а теперь вот поди ж ты! Укатали Сивку крутые горки. Она свалила плетушку на снег — передохнуть немножко — и услышала голос Мити Буреева:

—Здравствуй, Алёна Егоровна!

Рядом с ним стоял незнакомый суровый человек в фуражке (по этакому морозу-то!) и в хромовом пиджаке.

—Ох, здравствуйте, — перевела дух Алёна и огляделась мутными усталыми глазами.

— Нездоровится? — спросил незнакомый. Взгляд у него был спокойный, понятливый.

— Бабье здоровье известное, — ответила Алёна и высморкалась в свою латаную-перелатанную варежку.

— Тяжело? Можно попробовать? — опять спросил незнакомый и улыбнулся одними глазами.

Алёна тоже слегка улыбнулась:

— Попробуйте, коли охота.

Незнакомый приподнял ношу за верёвку, улыбнулся чему-то и, крякнув, замахнул её за плечи.

— А мы к вам, — объяснил Буреев.

— Кто это? — тихонько спросила Алёна. Митя зашептал отрывисто, зачем-то по-свойски подмигивая:

— Уполномоченный. По колхозному делу. Хороший мужик — во! Рабочий. Пузырьков Борис Васильич.

— Уж очень фамилия-то чудная, — сказала Алёна.

Плетушка на спине у Пузырькова висела неловко, боком, и болталась вправо и влево, но он нёс её добросовестно до самых ворот. Вошли во двор. Пока Алёна раскладывала сено овцам и лошади, Пузырьков с Буреевым стояли на коридоре, который отделял сенцы от двора. Наконец, она управилась и повела их в избу.

— Получается — мы к вам с чёрного хода зашли! — весело заметил Пузырьков.

Алёна улыбнулась:

— И правда.

Переступая вслед за нею порог, Пузырьков спросил громко:

— Можно? — Поздоровался со всеми разом и снял фуражку.

Тёмные волосы у него были закинуты назад. На висках поблёскивала седина.

Андрей, куривший после завтрака на корточках около голой стенки, хмуро посмотрел на вошедших. Алёна быстро разделась, смахнула тряпкой со стола, закапанного молоком, проводила ребят на печь и указала гостям на лавку. Сама стала среди избы, склонив к плечу свою маленькую голову, повязанную тонким измятым платком. Эта поза у неё выражала любопытство — иногда серьёзное, иногда ироническое.

— Закурите крепенького, — хрипло предложил Андрей.

— Что ж, спасибо. — Пузырьков протянул руку к кисету, но тут же кивнул головой на печку:— Только что ж, мы накурим, а у ребятишек головы разболятся.

— Привычные, — пробасил Андрей.

Заговорили про табак, про торговлю, Пузырьков объяснил, что он рабочий, коммунист, что вот послан партией помочь крестьянам организовывать колхозы.

Андрей прищурился:

— Объясните мне такую штуку, а если кто не желает в колхоз? Ну вот если я, к примеру, не хочу?

— Это будет твоя большая ошибка, Андрей Григорич, — вмешался Буреев и сразу начал рассказывать о тракторах, о машинной обработке полей, о коллективном труде.

Алёна, стоя всё в том же положении, казалось, отдыхала, упёршись ладонями в бока. Склонённая на бок голова её чуть подалась вперёд, взгляд усталых серых глаз не спеша обводил толстые губы, нос и глаза Буреева. Наконец, Егоровна, зажмурившись на секунду, взмахнула головой и не возразила, а только тихонько позвала Буреева:

— Мить... Да нешто я не понимаю? Колхоз, трактор этот, облегчение труда... Сама б рада! Домовой её возьми, эту жизнь — сил-то сколько убиваешь! А за что? За несчастный кусок хлеба, да за махотку молока!

— Вот я ж про то и говорю!

— Да ты-то говоришь, — снова на секунду зажмурившись, поддакнула Алёна, — а будет-то оно как? Семейка соберётся — тот-то её не видел: Алёна изо всех жил тянется, а кум Алёшка с бабой, прости господи, блох гоняют — ищутся вон под берёзкой в холодочке. А там ещё энти алахари рюмки сшибают. Да нешто я их, чертей, обработаю? А это ж ведь какое хозяйство, Мить! Тут всё в руках держи, вертись, да поворачивайся — рюмки сшибать некогда.

— Ну, тут уж! — развёл руками Пузырьков. — Перевоспитывать придётся. Дело общее.

— Руководитель, конечно, должен быть твёрдый, — Буреев значительно глянул на Бориса Васильевича.

Пузырьков встал, не спеша направился к Алёне.

— Как вас по имя-отчеству? — спросил он ещё на ходу. Тяжёлые руки его с выгнутыми, как у всех сильных людей, большими пальцами увесисто покачались и остановились.— Так вот, Елена Егоровна. Трудностей в этом деле будет, понимаешь... много. — Он глянул ей прямо в лицо. Алёна рассматривала его. Первый раз в жизни она видела такие чистые и доверчивые глаза. — Много, — повторил он с нажимом. — И нам с вами надо их одолеть. — Пузырьков сжал тяжёлый кулак и будто свернул,

сломил им что-то: — Одолеть! Понимаешь, иначе нельзя — дело такое: дорога нехоженая...

— Не получится, боюсь, ничего, — раздумывая, проронила Алёна.

— Давайте делать так, чтоб получилось.

Андрей вдруг вскочил, не говоря ни слова, схватил полушубок с шапкой и хлопнул дверью.

— К чёрту!.. — донеслось из сеней.

С минуту все в избе молчали, глядя на закрывшуюся дверь.

— Закипел, — объяснила Алёна.

— Что ж тут кипеть? — отозвался Пузырьков. — Тут обдумать надо. Вы сами видите, что так, как живёт до сих пор наш крестьянин, наша крестьянка, — так жить больше нельзя.

— Нельзя — и я говорю! — горячо подхватила Алёна. — Я уж теперь так решила: ладно, моя жизнь кувырком. Судьба, видно, такая — ладно. А ребят я из последних сил буду учить, чтоб они так не мучились.

— Нет, и у вас, у тебя — у всех должна быть настоящая жизнь, — возразил Пузырьков. — И мы можем это сделать. Такая задача у партии. Для того мы и революцию совершили, за то и боремся, чтобы человек труда жил свободно, счастливо.

Он говорил, что у нас нет другого надёжного пути, кроме коллективизации, что без этого страна не сможет наладить настоящую жизнь, а Алёна слушала его и думала о своей судьбе.

Ей вспомнился тот вечер, когда она стояла над оврагом около ржи. Тогда только Алёна и поняла, что жизни она не видит, что живёт, будто уткнувшись лицом в землю, и даже не замечает природы, которую любила в юности. И когда крестилась, она подумала: нет, — у человека, наверно, должна быть не такая, иная какая-то жизнь!

Теперь перед нею стоял рабочий, который знал эту иную жизнь и готов был повести к ней. Ещё там, на улице, когда он взял плетушку, Алёна почувствовала к нему безотчётную симпатию. Всё, что он говорил в этот день, ей хорошо запоминалось. Она верила этому человеку и отчасти понимала, что если всё сделать так, как он говорит, получится на самом деле хорошо. Но её тревожило, что слишком разные все они — сельчане. Есть и

пьяницы, есть и воры, есть и такие, как кум Алёшка, кто давно напуган муками крестьянского труда и привык жить кое-как, лишь бы полегче. Собери их всех в кучу, пожалуй, не сообразишь с ними.

Так ничего она и не пообещала в тот день.

Только когда узнала, что в колхоз вступил сосед — Никанор Тряхов, она подала заявление. Теперь Алёна думала о том, что впервые доверяет свою судьбу не самой себе, и не мужу, но что, видно, всё уж за неё решено — кто-то там, выше, принял на себя ответственность за таких, как она. И ей теперь хотелось только, чтобы те люди, которые это решили, всё хорошо видели и держали дело в надёжных руках.

Андрею же в эти дни дома не сиделось. Он уходил на деревню к давним приятелям, с которыми служил действительную, и пропадал там до полночи.

После службы многие его однокашники устроились в городах — кто шёл по торговой части, кто официантом, — и обычно на Андрея поглядывали свысока: «В навозе копаешься?» Так издавна повелось в Покровке. Поедет Митюха в Одессу или в Москву в лаптях, а через полгода заявляется в гости при галстуке и земли под собой не видит: извольте его величать Дмитрий Палычем.

Двоюродный брат Андрея — Дмитрий как раз — служил в Калуге шеф-поваром. К нему-то чаще всего и захаживал теперь Малахов: брат отгуливал отпуск.

Однажды перед вечером Андрей привёл его к себе в гости, поставил на стол бутылку очищенной.

—Что ж, Алёна Егоровна, — захмелев, расквасил чернозубый рот Дмитрий. — Забираю у тебя мужика. Повезу его калуцким кралям на усладу. — Он пьяно подмигнул ей и захохотал тоненьким сиплым голосишком, кривя свой щербатый чёрный рот. — Покопался в навозе — хватит с него. Поедем белые калачи есть!

Наткнувшись взглядом на упрямо осуждающее лицо Алёны, Дмитрий всё же приосанился и подобрал губы. Заговорил рассудительно:

— Куда-нибудь надо подаваться-то? Колхоз — пока ещё дело тёмное. Что ему тут, Андрею-то? Флотский повар. Офицерам готовил! Шнель-клепс а ля-ля! Бифштекс по-гамбургски! Не шути...

Он опять подмигнул хмельным глазом и вдруг запел гнусаво:

Будешь деньги получать
Каждую субботу...

Всю ночь Алёна проговорила с мужем. Хмель с него скоро сошёл.

—Каждую неделю приезжать буду, — в пятый раз повторял Андрей, — деньги привозить. Ребят выучим...

Помолчав, вздыхал:

—А это, что он насчёт баб — ты выкинь из головы. Очень такими городские нуждаются!

В три часа Андрей встал — идти с Дмитрием на станцию.

Алёна, сморкаясь в кончик головного платка, собрала ему вещи. Он обошёл, поцеловал сонных ребят, стал у порога. Алёна перекрестилась в святой угол, глянула на мужа, зашептала:

— Ну, час добрый! Не забывай нас... — и вдруг затряслась вся, ткнулась лицом в плечо мужу, вцепилась в него руками.

Андрей тоже хлюпал носом и прижимался щекой к её голове.

6.

Председателем колхоза избрали Бориса Васильевича. Долго ему пришлось уговаривать Алёну, чтобы она стала дояркой и телятницей. Боялась она: ну-ка телята дохнуть начнут. И чудно ей было: как это крестьянка перестанет работать в поле, а будет только одним делом занята.

— Это-то, по-моему, и хорошо, — высказал Борис Васильевич свою догадку. — Очень хорошо, что человек в коллективе, понимаешь, освобождается от множества забот и целиком отдаётся тому... Как это сказать?.. К чему у него больше призвания, верно? Тут он, что называется, во всю развёртывает свои таланты. Растёт, развитие получает, у него появляется свой авторитет, ему почёт, уважение...

— Да со скотиной-то я люблю, — сказала Алёна, соображая, что может означать слово «авторитет». — Свиней недолюбливаю, а телята, коровы — эти меня понимают.

Новая её жизнь началась с несчастного случая. Проработала Алёна неделю или полторы, и вот вечером прибежала к ней Аня Тряхова, молодая доярка:

— Тётка Алёна, помоги, Майка никак не растелится.

В деревне все знали, что Алёна умеет и вывих выправить, и роды принять, и в целебных травах толк понимает. Она молча надела тужурку, сунула в карман кусок мыла, чистый рушник и побежала с Аней.

Майка была красивая симментальская тёлка с небольшой гордой головкой и короткими ногами. Алёна любовалась ею, когда видела: «Вот коровка-то будет!»

— Один исход — прирезать, — сказал, выходя из сарая, сторож Фокин. — Не растелится: плод очень здоров.

Алёна раздвинула столпившихся в сарае Аниных подруг, подошла к Майке. Та лежала, мучительно откинув голову и не моргая. Алёна, опустившись перед ней на колени, подавила пальцами её вздутые бока, покачала головой. Потом сняла тужурку и стала засучивать рукава.

— За ветинаром послали? — негромко, но строго спросила она, недовольная тем, что люди тут стояли без дела. В сарай вошло ещё несколько баб.

— Дак чего он, ветинар-то? — развёл руками Фокин, вернувшись с ними. — Кабы это болезнь какая!

Алёна не слушала его, приказала Ане:

— Ну-ка, запряги лошадку — слетай.

Она говорила спокойно, кратко и строго, как говорят у постели больного. Люди сгрудились вокруг Алёны. Фокин поднёс к ней второй фонарь.

—Воды б горячей, — проговорил кто-то из баб. Другая тут же толкнула в плечо девчонку:

—Ну-ка, живо! Тебе близко.

Вошёл Пузырьков. Он остановился, почувствовав в этих людях что-то новое. Какие лица были у них! Большая общая тревога охватила всех, кто был здесь. Они не отводили от Алёны глаз и рады были подавать ей горячую воду, светить фонарём, поправлять ей юбку.

—Давайте мы её — на другой бок, — попросила Алёна, и все вдруг пришли в движение, поверив, что Егоровна знает, как нужно поступить.

Почти до утра она проелозила на коленях около Майки. Спина онемела, руки нахолодели, а на душе было легко: отвела смерть от Майки.

Под утро Егоровна присела у печки в загородке сарая, приготовленной для телят. Рядом на соломе лежала мокрая и ещё живая тёлочка, такая же мастью, как Майка.

Высокий фельдшер стоял у двери, теребя бородку.

—Вы-то езжайте, Аня вас отвезёт, — обратилась к нему Егоровна. — А я останусь. Может, бог даст... Спасибо вам.

— Помилуйте, за что же! Это вас следует благодарить. Только телёнок... кхе, кхе... Попытаться, конечно, можно...

Когда он ушёл, Алёна трижды перекрестила тёлочку, шепча что-то. Тёлочка дышала еле заметно. Широкие уши её обвисли, как неживые. Алёна укрыла её жакеткой, поправила голову. В сарае установилась тишина. «Ладно, пусть отдохнёт, думала Егоровна в забытьи. — У неё сейчас болит всё».

Чутьём, которое знакомо одним, может быть, матерям, она угадывала, где и что сейчас болит у этого чуть живого существа. Вот у него начинают остывать колени. Егоровна укрывает их, поправляет подстилку, и ощущение у неё такое, будто это она себе сделала теплее и уютнее.

Рано утром прибежал Мишка — завтрак принёс. Ночевали ребята без матери.

— Не боялись? — спросила она.

—Нет, мам, — бойко ответил сын, приподняв кулаком шапку от бровей. — А Никанориха к нам Маньку ночевать присылала.

Алёна смотрела на сына, не понимая, нарочно он или вправду. Сроду этого не бывало, чтоб Дарья заботилась о соседях.

— Ей-богу, мам, — подтвердил Мишка. — Аня сказала, что ты долго не придёшь, а Никанориха тогда прислала Маньку. И завтрак Манька велела отнести.

Что с людьми делается? Алёна знала, что Никанора поставили полеводом, что он насчёт клеверов уже хлопочет. Ну, Никанор — понятно: хозяйственный мужик. А с бабкой-то, с Дарьей-то что делается?

—Полей мне, я умоюсь, — попросила Егоровна сына.

Ела она не спеша, уставившись в одну точку. Всё думала о Никанорихе. Конечно, ради Аньки Дарья может подобреть. Дочь всё-таки. Но только получается — вроде как заигрывает...

Поев, Егоровна завернула в бумажку соль, собрала яичную скорлупу, кусочки хлеба, завязала всё в узелок и проводила сына.

Теперь ей всё время хотелось перебирать в памяти, как хлопотали рядом с нею бабы, девчата, дед Фокин,

как послала Никанориха Машку в чужой дом ночевать. Всё это было ново и удивительно.

Майка зашелестела сеном. Начала есть! Егоровна подоила её, отлила в миску густого молозива и присела к тёлочке. Нос у неё уже обсох, но когда Егоровна опустила его в миску, он остался там без движения. Миску пришлось принять. Со стиснутых губ телёнка потянулись вниз вязкие жёлтые нити. Алёна рукой обобрала их, потом разжала рот, влила туда ложку тёплого молозива и зажала телячьи губы пальцами. Хоть бы каплю глотнул,— лучшего лекарства и не надо! На горле долго не было никаких движений. Потом оно слегка напряглось, от груди вверх проползло какое-то еле уловимое колечко и, дойдя до челюстей, юркнуло обратно. Проглотила!

Трудный вздох вырвался у Егоровны.

Когда рассвело, прибежала Аня и долго ласкала тёлочку.

— Я похожу за ней, — сказала Егоровна. — Ты только помогай. Интересно мне её выходить: породистая.

На другой день глаза у тёлочки прояснились и она дышала слышнее. Алёна заговорила с ней весело:

— Ишь они! «Не выживет!» А мы вот возьмём и выживем! От ласки выживем... Так тебя и назовём: Ласка...

Спустя дней пять, утром Ласка увидела Егоровну с Аней, потянулась и, отчаянно перебирая копытами и оскользаясь, встала на ноги.

— В-вот я какая! — выпалила за неё детским голосом Егоровна. — А вы говорили! Я вам ещё покажу, кто я такая, Майкина дочь!

Впервые за всё эти дни Егоровна засмеялась.

Борис Васильевич собрал вечером животноводов.

— Давайте подумаем вот о чём, — обвёл он женщин взглядом, в котором таился подвох. — Что заставило Елену Егоровну так поступить? Приказывал кто-нибудь?

— Никто. Сама, — за всех ответила Аня. — Кто ж может требовать, когда...

— Это-то и дорого! — продолжал Пузырьков. — Знаете, как у нас пойдёт жизнь, если каждый вот так будет... не дожидаясь требований...

Егоровна опустила глаза. Ей неловко было сознавать, что за такое обычное и для самой же интересное дело её хвалят, будто она совершила бог знает какой подвиг,

Всю жизнь, каждый день она работала до последних сил и никому не было дела, хорошо у неё вышло или плохо. А тут Пузырьков даже захлопал в ладоши, за ним — остальные, кто-то сказал, что по закону Майку теперь надо передать Малаховой; Аня крикнула, что хоть ей и жалко, но она и сама так решила, и что надо Егоровну премировать.

Алёна вдруг почувствовала себя среди этих людей так, будто они взяли её сильными заботливыми руками, возвысили и поставили на очень удобное место.

С этой минуты всё, что она делала на ферме, стало для неё самым важным. Она вспоминала известные ей рецепты от болезней телят, узнавала новые, тёрла дома картошку, чтобы добавлять крахмал в пойло, доставала конский щавель для отвара.

Телята уже знали её по походке и по голосу. Она баловала их чем могла, трунила над их привязчивостью, иногда забывала с ними о доме, о своём бычке Королике и не жалела об этом.

Ей было легко. Она сама удивилась, когда заметила, что теперь работа не надоедала ей и не властвовала над нею.

Легко стало жить и с соседями. Однажды, задумавшись над тем, почему Никанориха тогда позаботилась о её ребятах, Алёна почувствовала, что и у неё в душе не осталось ничего злого к Тряховым.

Что людям делить? Помогать один другому чем можно, — вот бы насчёт чего им надо побольше заботиться в жизни!

И старые соседи теперь здоровались по утрам так, как будто никогда не говорили друг другу худого слова.

Но самым нужным человеком для Алёны оставался Пузырьков. В трудный ли, в светлый ли час — она всегда была рада ему. И о каких бы мелких хозяйственных делах ни говорили они, Егоровна держала в уме, что они оба знают то большое и главное, о чём был разговор в день их первого знакомства. Это словно роднило их. Её доверие к нему, к партийцу и председателю, было не по-женски открытым и серьёзным. И она видела, что так относились к Пузырькову и Аня, и свинарки, и даже обормот-баба Прасковья Дубчиха, которая работала конюхом.

Но вот совсем неожиданно с Борисом Васильевичем им пришлось расставаться.

Случилось это в начале зимы. Пузырьков пришёл на фермы. Как раз были отделаны длинные новые дворы для овец и для телят, построили их на краю села, где уже стоял большой коровник, около самого оврага, от которого убегала когда-то, крестясь, Алёна.

Пришёл не один, с представителем. Поздоровался по-прежнему энергично, поздравил с новосельем, а у самого в глазах жалость какая-то. Женщины глядят на представителя — что-то, дескать, тут есть. Прошли по помещениям, поглядели скотину, представитель и говорит:

— Ну, что ж, вроде объявить людям надо... Забираем мы от вас товарища Пузырькова. На руководящую работу. В район.

— Слыхали! — пальнула своим хриплым извозчичьим голосом Дубчиха. Откуда она что слыхала — это для простого разума всегда оставалось загадкой. — Да мы его не отпустим!

— Нельзя! — мягко ответил представитель. — Дело он у вас наладил, теперь в районном масштабе надо поработать.

— Бумажки-то писать? Работа! — оглушительно грохнула Дубчиха, взмахнув руками. — Чёрт её не видал, такую работу! Найдутся там писаря без Пузырькова.

Представитель строго посмотрел на неё, но промолчал.

Женщины опустили глаза, перебирая фартуки.

На другой день было общее собрание. Егоровна поняла, что начинается что-то не то. Бабы не зря так бунтовали. Дубчиха вовсе охрипла, вышла из терпения и наконец крикнула:

— Да провалитесь вы тут совсем! Видно, по-нашему всё равно не будет, — с поклоном махнула рукой и ушла с собрания.

Пузырькова освободили. А на его место подходящего человека не было. Называли Мишку Белякова. Но что Мишка? За рюмку весь колхоз продаст. «Давайте Круглова выберем». Этого б можно: хозяйственный и не глуп, но тоже «с лысинкой»: всё норовит себе. И родня у него такая. Растащут колхоз. Ваньку Душкина? Егоровна его хорошо знала: он ей племянник. «Малый он честный, думала она, только уж очень.,, телёнок. Нешто он сможет потребовать, убедить?»

Выбрали Александра Силыча Буреева — Мите, председателю сельсовета, он старший брат. У Силыча — всего по чуточке: он и с политикой человек, и грамотный, и арап, и выпить не дурак. Но этот хоть знал край и не падал, да и в руководящих делах был не новичок — в сельпо лет пять работал, в городах служил. Ходит при галстуке, брюки глаженые — самостоятельный человек. Только когда за него проголосовали, он размяк, вроде постарел, тяжело поднялся со стула. У Егоровны глаз меткий — она сразу перевела это движение на русский язык: «через силу принял, много не наруководит».

7.

Сперва плохих перемен в хозяйстве Егоровна не замечала. Она была уже только телятницей. Работа шла своим чередом. Но трудновато стало насчёт воды. На старом месте колодец был рядом, а тут воду телятам приходилось носить из оврага — ещё при Пузырькове устроили там временный водопой для коров, разрыли родник. 37 телят — это по ведру — 37 вёдер за раз и всё на себе. С утра надо натаскать воды, нагреть, пойло составить, всем разнести, а вечером начинай сначала. Замучила эта вода! Руки по ночам ныли в локтях и кистях — Алёна уж и растирала их, и грела на печке. Однако ей не приходило в голову винить в этом кого-то. Ну, не вырыли ещё колодец, что поделаешь? Мало ли какие трудности будут, а пить-то телятам надо?!

— Черти их не возьмут, если и один раз поить! — сдуру ляпнула как-то Дубчихина девка, Ольга, начавшая работать дояркой. Доярки тоже должны были для стельных коров носить и греть воду.

Алёна, промокшая, потная, остановилась от этих слов.

— Чтоб у тебя, девка, язык отсох!

— А то лучше без рук оставаться — очень надо! — высыпала Ольга. — Мне премировки не нужны.

У Алёны потемнели глаза.

— Я за премировки работаю?! Ах ты, сопля!

В это время из-за угла спокойной походкой отдыхающего вышел высокий худощавый мужчина в каракулевой шапке — Александр Силыч. Он курил душистую дорогую

папиросу и думал о чём-то приятном. Сделав вежливый поклон, он поздоровался, спросил:

— Не поделили что-нибудь?

— Да вот наша краля трудностей испугалась, — переборов себя, объяснила Алёна. — Боится белы рученьки замарать.

Александр Силыч, выпуская душистый дым, иронически поднял брови и посоветовал неторопливым расслабленным басом:

— О, но! Трудностей бояться не следует... Тем более молодым.

Подходили другие женщины, вытирая руки и отряхиваясь, потом толпой пошли по фермам. Шли как экскурсанты: впереди — высокий, чисто одетый экскурсовод, за ним — разношёрстный отряд посетителей: кто в ватнике, кто в старой рыжей шубе на сборах, кто в замасленном молескиновом пиджаке.

Закончив обход и указав, где грязно и где не прибрано, председатель опять неторопливо достал длинную папиросу, полагая, что дело сделано. Но женщины не собирались расходиться — шушукались, подталкивали Егоровну:

— ...кажи!

— Конечно, говори. Больше всех маешься.

— Без нас, что ль, не знают?.. — Егоровна повернулась уходить.

— О чём это? — прищурив глаза и прикуривая, поинтересовался председатель.

— А ну их к монаху! — всех растолкав, грохнула Дубчиха. — Ай языки-то и правда поотсохли? Да насчёт колодца, Александр Силыч. Надо ж вырыть колодец, ведь обезручили бабы. А ну-ка вьюги закрутят? Да туда тогда сам чёрт не пролезет — в овраг-то!

Буреев закивал головой, достал записную книжку.

— Э-э, н-да, — скрипел он, записывая что-то. — Колодец... Что ж, хорошо.

— Да и котёл бы в печку надо вмазать, — подалась вперёд и Егоровна. — Ну что ж мы топчемся целый день вокруг этой плиты — в вёдрах воду греем.

Буреев записал и про котёл.

Через неделю он шёл на фермы и ещё издали поднял руку:

— Помню, женщины, помню. Записал. Но придётся потерпеть. Немножко тут у нас не получается.

После этого на фермах его долго не было. Начались метели. За день женщины прокапывали и протаптывали к водопою дорогу, а к утру её снова заметало. Опять брали лопаты, раскидывали снег — и вьюга опять заносила их траншею. Потные, мокрые, носили они воду, снег месился под ногами, как сыпучий песок.

— Ну что ж, — переводя дух, соображала Егоровна. — Видно, уж эту зиму придётся отмучиться.

Но она ещё не знала, что такое беспечный руководитель колхоза. Настоящие беды были впереди.

К следующей зиме третья часть лугов осталась нескошенной. Егоровна глядела на коров, на телят и думала о том, какое страшное бедствие надвигается на них — голод. Все эти Ласки и Красавки — они ведь ею выращены! Сколько ей пришлось перетаскать одной воды, чтобы они стали коровами! А теперь...

Однажды ночью в дремоте ей почудилось, что корм кончился, доярки заперли коровник на замок, ушли и оттуда нёсся раздирающий сердце рёв обречённых животных. Егоровна металась, не зная, что делать. С чем пойдёшь к Ласке, как будешь смотреть на неё, когда она повернёт к тебе голову и заревёт? С ума сойдёшь!

Когда Егоровна очнулась, сердце у неё испуганно колотилось, в глазах стоял и не проходил ужас.

Она мало думала о том, что этот год придётся жить кое-как — хлеба не досталось, на трудодень выдали одну картошку, только кляла этого барина, Александра Силыча, которому, оказывается, все они, колхозники, вовсе не нужны и колхоз ему не нужен. Но как теперь перебиться? О колодце уж она не вспоминала, котёл они кое-как вмазали сами — дед Фокин им помогал. Но как спасти скот?

Много мозолей у неё засохло в эту зиму от вёдер и от топора — тёплая-то вода хоть тело бедным телятам согревала! А каково было видеть мученические глаза животных, когда помогала поднимать ослабевших коров и подвешивать их на верёвках!

Каждый день вспоминала она Бориса Василича и мысленно выливала ему свою боль. Съездить к нему было некогда, а сам он не заезжал — работы, видно, было много. Да и что б он сделал, если бы и заехал?..

Исхудавшая, постаревшая за эту зиму, Алёна всё-таки не падала духом: уберегли скот. Хоть он и вышел на траву еле-еле — ветром его качало, хоть и крыши на фермах пришлось пораскрыть, и у государства просили, а уберегли.

Весной Буреева освободили, за халатность ему был суд.

Председателем выбрали Круглова.

Егоровна знала, как были подстроены эти выборы. Кругловская родня собралась — подговорили кого за рюмку, кого — так, мол, обижен не будешь, — и давай кричать изо всех углов:

— Круглова-а! Желаем Круглова! Потянет!

По правде сказать, больше и некого было. Ну, он и потянул! Недели не прошло, как бабы на фермах заговорили:

— Кругловские по ночам сено тащут.

— Кругловские колхозный лес режут.

— Летошнюю пшеницу ночью растащили.

Голова кругом! Не поднимаются руки работать.

Сам Круглов :на фермы не шёл — дело летнее, мол, не горит. Дубчиха повела к нему делегацию: нужен колодец, полы нужны, а то и утонуть не долго в стойлах, и как будет нынче насчёт корма?

Круглов, губастый, широкозубый мужичок, заросший рыжей щетиной, с чёрными ногтями на толстых пальцах и свалявшимся как попало войлоком волос на голове, оглядел их хозяйскими невыспавшимися глазами.

— Дык вот что, — он говорил тихо, как больной, словно боясь умориться от шевеления губами. — Дайте мне осмотреться. Летось обходились без колодца? Погодите, я вас слушал... Обходились? А вот Круглов пришёл — сразу им вынь да положь колодец.

Дубчиха сорвалась, закричала, что хватит обещаниями кормить, что она бросит всё к чёртовой матери. Ольга выпалила, что пускай он тогда сам коров доит — довольно над людьми мудровать — и убежала.

Круглов, не взявши фуражку, молча вышел... Больше он не приходил в контору до вечера. Женщины долго переглядывались, не понимая, что произошло, потом Дубчиха плюнула с размаху в сторону председательского стола и сказала, что нет, видно, надо писать в район, потому что больше никакого терпения не хватает.

Письмо она сочинила сама, его подписали все, кто был на скотном, и послали заказным прямо председателю райисполкома. На другой же день стали глядеть: ходит ещё Круглов, или его уже забрали и отправили, куда Макар телят не гонял? Но Круглов ходил. Прошла неделя — Круглов был цел-целёхонек. Вдобавок в воскресенье дядя его со свояком возили на базар колхозных поросят, и Дубчиха разузнала, что выручку они располовинили. А Круглов всё ходил.

Недели через две приехал из райисполкома представитель. Вызывал доярок, кое-кого из кругловских, что-то писал. Потом прошёл слух, что «это всё не доказано», но что Круглову всё-таки «была баня» и скоро его ещё будут слушать на бюро райкома.

А в колхозе тихо и незаметно началось самое страшное — разложение артели. Тащили уже не одни Кругловы — эта эпидемия стала захватывать и других. Тянули всяк в свою нору — кто карман зерна, кто вожжи, кто молоко, и каждому думалось, что ему достаётся меньше, чем другим. Ещё не успевший окрепнуть, этот коллектив стал напоминать оркестр, в котором музыканты вдруг оглохли и играют кто во что горазд.

Люди в Покровке вдруг разучились понимать один другого, будто всевышний снова подстроил им вавилонскую шутку. Стоило, например, Егоровне спросить вожжи у деда Никитина да по нечаянности прибавить, что недавно шестеро новых вожжей было свито, как старик вскакивал и медведем напирал на неё, ревя, что если она так много знает, то вот ей хомут и дуга, а он тут больше не слуга. На собраниях уже нельзя было понять, какой всё-таки обсуждается вопрос. Каждый кричал о своём — с визгом, со слезами, с многоэтажными ругательствами.

Егоровна видела, что и Тряховы начали сбиваться с пути.

Когда бригадир заходил к ним давать наряд, то что-то очень долго «заседал» там, а выходя, с трудом переступал порог, жмурился и запевал: «Кабы имел златые горы...» А девки Тряховы тем временем бежали на конюшню с запиской, запрягали лошадь и ехали, куда им было желательно.

... На заседание бюро райкома партии, кроме Круглова, были приглашены все работники животноводства: вопрос стоял о подготовке к зимовке скота. Дубчиху

Круглов не взял — работу ей нашёл, другие сами отказались, с председателем поехали Егоровна, Аня и дед Фокин.

Круглов для такого случая подстригся, побрился, надел чистую рубаху и новый пиджак с измятыми и обвисшими лацканами.

Когда они вошли в кабинет, вокруг длинного стола сидели члены бюро. Егоровне бросилось в глаза, что это были одни мужчины. За дальним концом стола она увидела бледное лицо щуплого человека. У него были лёгкие тёмные волосы, зачёсанные назад. Он ощупывал глазами каждого входившего, задержал взгляд и на Егоровне, от чего у неё похолодели пальцы. «Главный»,— догадалась она.

Их посадили у самых окон, а Круглова — у того конца стола, что ближе к двери. Хмуро, деловито он стал развёртывать бумажки.

— Пожалуйста, товарищ Круглов, — глухо сказал человек с бледным лицом. Егоровне показалось, что он сердит на их председателя.

Держа в руках бумажку, Круглов встал, кашлянул в кулак, потоптался и начал читать с неторопливой солидностью человека, которому вполне можно доверить большое хозяйство.

— По колхозу «Восход», значит, имеется 46 коров из плана 48, овец имеется 211 из плана 200.

Егоровна видела, что начальники внимательно, как достойного руководителя, слушали Круглова, и забеспокоилась. Он докладывал смело, будто равный равным, и все, похоже, ему верили. С тревогой и ненавистью она смотрела на Круглова, на его наглые самоуверенные глаза, на широкие зубы и толстую переносицу. Противны ей были все его слова, его тягучий голос и само спокойствие, с каким он выкручивался. В колхозе идёт развал, Егоровна думала, что все тут нынче будут возмущаться этим, кричать на Круглова, может, даже арестуют. А по его словам выходило, что не так уж всё и плохо: план по головам, считай, выполнен, помещений хватает. И это была правда! Насчёт корма он сказал, что «дело поправим». Низки надои. Но это от тяжёлой минувшей зимовки. Круглов намекнул, что он тут не виноват — такое наследство принял.

Егоровне показалось, что двое не то трое начальников с сочувствием взглянули на Круглова. «Обвёл!» застучало у неё в ушах. «Неужели они не видят, как он изворачивается, какие у него жульничьи глаза?»

Встал человек, который приезжал перед этим в колхоз и проходил по фермам.

— Товарищ Круглое выступил тут не совсем объективно, — сказал он и метнул злой взгляд туда, где сидел Круглов.

Дальше Егоровна слышала, что кормов в колхозе заготовлено мало, что с кадрами не работают. Помянул он даже насчёт колодца и жалобы колхозников, которая, оказывается, разбиралась в райисполкоме.

Егоровна слушала внимательно. Всё, что говорил этот человек, тоже была правда. Начальники теперь уже без сочувствия, а хмуро и строго глядели на Круглова. В груди у Егоровны стало теплее.

Начальник с бледным лицом повернулся к Алёне, к деду Фокину и спросил, что они могут сказать. Дед только крякнул, поёрзав на стуле. У Алёны пересохло во рту, но она сказала, не вставая:

— Вот этот человек всё правильно сказал, — она показала пальцем на работника, который говорил про недостатки. Потом прибавила, уже смелее: — И насчёт колодца правильно: рук не чуем...

Те, кто сидел за столом, по очереди вставали и говорили сначала спокойно, потом всё горячее и с напором на слова «беспечность» и «безответственность».

Круглов молчал, лицо у него багровело. Широкие ноздри его раздулись, над утолщённой переносицей, к которой спускалась косо подрезанная чёлка, вспухла вена. У Егоровны размякло лицо, она уселась поудобнее и уже с добродушным интересом слушала выступавших.

Последним поднялся главный начальник. Он был в темносиней гимнастёрке с пухлыми, как подушечки, накладными карманами на груди.

— Что нам с вами делать, Круглов? — тихо и гневно спросил он, положив карандаш и взявшись пальцами за свой широкий ремень. С полминуты он молча изучал глазами Круглова, сидевшего от него на противоположном конце стола. — Силосование вы сорвали — вам это прошло. Заготовку сена вы провалили — мы наказали вас. С уборкой урожая тянете весь район назад. И вот теперь

с подготовкой к зимовке... — Он опять молча остановил взгляд на Круглове и спросил тихо, но уже грозно:— Слушайте, что это такое?

Круглов не выдержал, вскочил, хохолок рыжих волос запрыгал у него на макушке:

— Лексей Иваныч! — глаза его стали совсем наглыми, жгучими, широкие ноздри злобно раздулись, брови сморщили пухлую переносицу. — Это разбитое корыто я не по доброй воле взял! Я вам ещё сперва началу говорил, что я не одолею. Вы забыли?

Кто-то ударил ладонью по столу:

— Вы что сюда пришли — санкцию на развал колхоза получить?! Что вы тут диктуете членам бюро?!

Этот взрыв обрадовал Егоровну. Круглов, ошалело озираясь злыми глазами, сел.

— Прест-тупник вы! — добивал его Алексей Иваныч. — Преступник... Занялись вы там личным хозяйством и разваливаете колхоз. Вам ясно, что это такое? Способны вы там поправить дело или нет?

Егоровна торжествовала: и на жгучую крапиву бывает мороз! Как виноватый школьник, Круглов мямлил теперь, что признаёт недостатки и упущения, обещает что-то исправить.

— Ну только я вот чего, конечно... — всё-таки изворачивался он, хоть и очень осторожно. — Как я есть руководитель, конечно, молодой, начинающий, а ниоткудова мне нету практической помощи от районных организаций, надо бы помочь...

Постановление было длинное. Круглова решили последний раз предупредить.

Когда Егоровна выходила из кабинета, мысли у неё раздваивались. Были отрадные мысли, которые шли от того, что она встретилась с большой руководящей силой, поняла, что это ей она доверилась, когда стала писать заявление в колхоз. Но были и тревожные думы — недовольной уходила Егоровна. Кому доверяют артель? «Поправить, предупредить!» Отруби дворняге хвост — выйдет ли овечка? И вдруг подумалось: «Как же так? Такое большое дело затеяли — колхозы, а кому ими руководить — никого не подготовили. Или, может, готовят где?»

Егоровна вспомнила, что где-то тут должен быть Борис Васильевич). Вот бы с кем поговорить! Рассказать бы ему всё дочиста и спросить: «Как же так?»

Но Бориса Васильевича не было. Девушка, которая за столом, сказала, что он уже тут не работает, а послан на учёбу.

Обратно ехали опять в одной повозке. За всю дорогу Круглов не сказал ни слова. О чём он думал? О том ли, как ему теперь поворачивать дела, или о том, сколько он удержится ещё у этой кормушки, не придётся ли ему сесть за решётку по милости своих родичей?

Егоровна тоже молчала. В последнее время она мало разговаривала, — всё думала. Новая жизнь, которая так складно было началась, теперь убегала от неё всё дальше и дальше. Порой думалось, что вот перевалим через эту трудную горку, и всё пойдёт честь честью. Ан за этой горкой поднимались новые — одна другой круче, а ноша становилась всё тяжелее. Было бы, может, не так обидно, если бы эти горки создавала какая-нибудь злая сила. А то ведь вот он сидит — создатель-то! И разговаривать с ним об этом бесполезно. Доверили козлу капусту — что ему людские слова!

Она думала, чем это кончится, и ей вдруг захотелось опять хлопотать дома — носиться с курами, баловать сытным пойлом телёнка, копаться на огороде. Жить опять стало трудно: с тех пор, как ушёл Борис Васильевич, колхозники не получали хлеба. Егоровна стала сеять рожь на усадьбе, молоть на старой «вертушке» в сенцах и печь хлеб пополам с картошкой.

Андрей приезжал редко. Пусто без него было в доме. Алёна остро стала ощущать это, чего прежде не так замечала. Придёт она вечером с фермы, накормит ребят и ложится в холодную постель. Одна. Вспомнятся его сильные горячие руки, и сердце зайдётся: где он теперь? Кто там в городе идёт с ним, с захмелевшим? А денег его, можно сказать, и не видишь. Привезёт сумку хлеба, да ребятам одежонку кое-какую — вот и всё... Ребята уже большие стали. Мишка теперь скоро семилетку кончит, Нина в первый класс пошла.

Так жизнь и уходила. И дальше были всё горки, горки... Сколько их было — Егоровна не считала.

Теперь ей казалось, что ту жизнь, которая по-доброму улыбнулась было ей, не вернёшь. Сколько лет женщины бьются тут дни и ночи, а дело — ни с места! Глаза уже ни на что не смотрят. Иногда в горячах Егоровна думала: «Брошу и уйду! Пускай без меня разбираются».

А уйти всё-таки не могла. На кого же она бросит-то всё? И опять продолжала тяжёлый, никем не ценимый и почти совершенно бесплатный труд.

Ей уже обидно было слушать, что где-то есть богатые колхозы, что люди там даже медали получают. А ей вон бригадир и лошадь не дал за дровами съездить — пол-литровку вымогает.

Вот и Круглов сломал себе шею. До последнего дня всё на тачанке раскатывал и даже колёсную мазь пропил — с «музыкой» ездить стали. «Так-то лучше, — мрачно острила Алёна,— а то ну-ка задремлет кто на возу-то!»

Но вот однажды Егоровна стала вспоминать об этих днях и поняла, что они остались далеко позади. Минутами ей казалось теперь, что это был долгий нехороший сон. Был и прошёл. Очнулась, а над головой тихое голубое небо, воздух свеж и душист, как букет ландышей, набранный по росе.

Она шла с работы, Андрей встретил её за огородами.

—Прямо как к молодке вышел,— чуть застенчиво похвалила она мужа.

—Да ты у меня и так молодкой стала, — полюбовался Андрей.

И правда, Егоровна помолодела в этот год, ходила опрятная, в новой косынке и стала весёлой шутницей даже среди мужчин. Жизнь у «её текла широко и счастливо. Снова почёт, каждый праздник — премии. В газетах, на собраниях её называли по имени и отчеству. И дети радовали: Мишка уже учился в техникуме, жил с отцом в Калуге, Володя перешёл в седьмой класс, Нина — в третий.

В доме, где несколько лет стоял кислый запах непропечённого хлеба, смешанного с картошкой, где всё было кувырком и кое-как, теперь установился добротный порядок, вкусно пахло заварным хлебом и русскими щами.

Егоровна, должно быть, сейчас только задумалась о том, как всё это пришло.

Колхоз после Круглова принял Ванька Душкин, её племянник. Не обрадовало это сначала Егоровну. Что Валька? Он честный — не пропьёт и чужого не возьмёт; в работе он добросовестный — будет

тянуться изо всех сил. Но какой он руководитель? Телёнок! Егоровна проходила мимо него на фермах, не останавливаясь, будто это был посторонний и нестоющий человек. Но скоро рядом с телятником начали рыть колодец, в коровник пришли плотники настилать пол. Кто-то, должно быть, подсказал Ваньке распахать около речки часть луга и посадить там овощи. И осенью на лугу с утра до ночи сновали подводы, городские грузовики, увозя чуть ли не пудовые кочаны капусты, морковь и лук.

Ванькина честность творила чудеса. Люди, истосковавшиеся по правильному порядку, пошли к Душкину со своими советами и подсказками. А он, видно, перехватил у Пузырькова хорошую струнку — умение слушать людей и будить в них заботу об общем деле. Сам он старался быть лишь аккуратным исполнителем артельных дум.

Давно в колхозе не молотили и не подсевали клевера. Ванька дал в этом деле полную волю Никанору Тряхову и первый шёл туда, где было потруднее. Прошло сколько-то времени, колхоз стал славиться клеверами, льном, капустой, купил автомашину, четырнадцать породистых тёлок. Красавицы!

Как-то на собрании Ванька Душкин выдал Егоровне новую премию, пожал руку и сказал, глядя то на неё, то в зал:

— Ничего, Елена Егоровна, мы с тобой ещё в Москву на сельскохозяйственную выставку поедем. И наши животноводы с медалями начнут ходить!

Андрею она никогда не была так рада, как теперь.

Они тихо шли за огородами по рубежу. Солнце село. С поля потянуло сладким ароматом ржи. В стороне, в лощинке, как давно когда-то, звонко и шаловливо высвистывал соловушка. Перепел картавил у дороги.

Елена Егоровна остановилась, прислушалась, глубоко вдохнула сочный аромат поля.

—Мне это поле всё во сне снится, — проговорил Андрей. — Берёзки вон те! Будто я стою под ними...

—Это они тебя ждут, — отозвалась Елена и подняла палец. — Слышь?..

Андрей вслушался. Маленький певец вызванивал в кустах: «Пёк-пёк-пёк-пёк...»

83

Придержав дыхание, Андрей поводил глазами и выдохнул:

— Вот разбойник!...

— Каждый вечер слушаю, — похвалилась Елена. И прибавила: — Хорошо у нас.

Соловей высвистывал: «Зови-и, зови-и, зови-и!..»

— Красивей нашей Покровки нету, — согласился Андрей.

— А не вернуться ли тебе, Андрей, в родное гнездо?— вдруг обронила Елена Егоровна. — Какая жизнь-то началась!..

— Думаю. — Андрей полез за папиросой. — Не отпустят сразу-то. У нас насчёт этого строго.

На околице чисто запела гармошка, покатился вдаль разливистый девичий голос, подражавший Руслановой.

Муж с женою шли будто со свидания.

Ох, как не хотелось Андрею уезжать в этот раз на работу!

Недели теперь казались ему месяцами. Каждой субботы он ждал, как праздника, перед вечером, запыхавшись, мчался со станции и, как юноша, бежал встречать жену.

А Ванька Душкин, наверно, и не подозревал, что его работа вызовет что-нибудь подобное.

Счастливое время летело незаметно.

Весной восходовцы только и говорили, что о поездке в Москву на выставку.

Но этому не суждено было осуществиться. Шёл 1941 год...

8.

Солдат возвращался домой. Со станции он шёл быстрым шагом, жадно вдыхая полузабытый запах берёз. Правый рукав его гимнастёрки был убран под ремень: одной руки у солдата не было.

Дорога шла лесом. Там, где она раздваивалась, под раскидистым дубом в траве стоял облупленный фашистский танк. Солдат молча обошёл его, потом вскочил на башню, сел, окорячив её, и закурил.

Его лицо с выразительными серыми глазами, напоминавшими глаза Андрея Малахова, было ещё юношески молодо, но на лбу с залысинами уже резко выделялись устойчивые мужские морщины. Он курил,

сосредоточенно ковыряя краску на броне. Потом затянулся последний раз, с. размаху расшиб окурок о танк, спрыгнул, стащив за собой шинель и вещевой мешок, и зашагал дальше, насвистывая. Когда он вышел на опушку и на пригорке за речкой увидел село, он на минуту остановился, будто предчувствуя недоброе, потом зашагал быстрее. И опять постоял. Но издали никаких перемен не заметил. Как и прежде, темнели ёлки на кладбище, виднелось кирпичное здание школы среди села, над серыми крышами домов и сараев, как много лет назад, клубились густо-зелёные громады лип и осокорей.

Интересно, узнают ли его там? Ушёл он писклявым юнцом, который любил дурачиться, передразнивая чеховских чудаков, а теперь шёл инвалид войны.

Тропа бежала к мосту. Солдату вспомнилось, как по дорогам, которые расходились оттуда в разные стороны, он мальчишкой ездил с матерью за сеном, на базар, а зимой — за дровами. Земля тут была плотно укатана колёсами, утоптана и напечатана подковами. Мальчишкам хорошо было ходить по ней босыми ногами.

И вдруг солдат стал, будто нечаянно ступив на минное поле. Где же дорога? Тропа уходила в густую траву, в кусты. Там, где когда-то ездили на лошадях, теперь уже рос мелкий ивняк. Ни колеи, ни лошадиной стёжки... Лишь кое-где сквозь траву просвечивали старые глиняные плешины. Моста тоже не было. На его месте торчали из кустов серые растрескавшиеся сваи. Около них лежало несколько таких же старых брёвен — кладки....

Перешёл на ту сторону. Тихо, пусто кругом. На траве был виден одинокий след телеги: кто-то переезжал речку вброд.

Перед мостом, на выгоне, всегда паслись лошади с жеребятами. Теперь выгон зарос густым мелким клевером и на нём никого не было видно. У омута, где с утра до вечера бегала и купалась детвора, тоже никого не было. Где-то у крайнего дома, за тыном, потонувшим в крапиве, пропел петух, но это не оживило общей картины, только напомнило о безмолвии. Ни лая собак, ни скрипа телег не слышно было на сельских улицах.

Солдат снова остановился... «Война? — оторопело думал он. — Это — война?» На фронте он видел начисто сожжённые сёла, видел города, превращённые в кучи щебня... Но это... В нетронутом селе, где. не сожжено ни

одной избы и не разорвалось ни одной бомбы... Никогда не думал, чтоб война так высосала всё. В глаза уже бросались скотные дворы с провалившимися крышами, избы, осевшие на один бок, разгороженные палисадники, баня у ручья, сгнившая и заросшая крапивой.

Малаховский дом постарел мало. То же слуховое окно с деревянными петухами, крыша под дранью, крыльцо, изба и горница через сенцы, некрашеные резные наличники — всё, как было. Только два окна в избе скособочились, да крыша у двора завалилась, хорошо, если корову не придушила. Сенной сарай тоже разъехался. А от сада осталась одна яблоня, и та задичала. Кто-то брался загораживать палисадник и бросил.

Нет хозяина — всё валится. Видно, складывай-ка, Володя, свои госпитальные пожитки да берись за топор!

Дверь в сенцы была отворена, там кто-то хлопнул другой дверью и крикнул бабьим искусственным басом:

— Кш-ши, окаянные! — и, охая и хлопая крыльями, оттуда посыпались на улицу куры.

За ними на крыльцо с граблями вышла женщина в вылинявшем добела платке, в узенькой пёстрой кофте и в валенках, несмотря на жару. Маленькая голова её была повязана наглухо, платок туго охватывал всю шею. Володе казалось, что и голова и шея прибинтованы к своему месту. «Мать!»

Увидев солдата, Егоровна остановилась: «Не наш ли?»

Сын одним прыжком вскочил на крыльцо, прижал её к себе, она заголосила вдруг, тронув пустой рукав.

На скотном дворе кто-то кричал хриплым голосом:

— Нин, беги скорей, ваш Володька приехал!

И оттуда напрямик, по огородам, перепрыгивая босыми ногами через картофельные борозды, помчалась к малаховскому дому невысокая некрасивая весёлая девушка. Шумно дыша, она вбежала на порог, сильная, нотная, пропищала:

— Ой, кто приехал-то! — и кинулась брату на шею.

Если бы кто знал, как она ждала его!

За эти годы Володя стал для неё самым дорогим человеком. Она писала ему каждую неделю длинные и простодушные письма, обо всём с ним советовалась: и с кем ей лучше дружить, и где работать. Он от-

вечал уже как взрослый, а когда догадывался, что у сестрёнки невесело на душе, сочинял ей такие уморительные послания, что хохотала вся Покровка.

Нина любила описывать ему своих домашних питомцев — кур, кошек, телят и громадную чёрную корову Ночку, которая выросла с Ниной.

Когда-то вся домашняя живность признавала только Алёну. Куры за ней могли бежать не то что до сарая, а и до станции и даже дальше — хоть до Калуги. Про телят, про корову и говорить нечего — эти и подавно. А теперь вот так же все бегают за Ниной. А Ночка — это просто умница. Вот пошла куда-нибудь — крикнешь: «Ну-ка, постой!» Станет и будет стоять. А чистоплотная какая! Наступит где-нибудь в грязь, ей скажешь: «Эх, ты, грязнуха, пойдём ноги мыть на пруд». Возьми за ухо — пойдёт. Станет на плотине — мойте её, пожалуйста.

В последнее время Нина писала, что не знает, кем ей быть. Мать всё говорила — портнихой. Уж и справку на паспорт достала. А то, говорит, будешь ты тут, в этой богадельне, с нами годы тратить. Мать почему-то думала, что выше портнихи и идти некуда.

А Нине совсем не хочется портнихой. Но куда ещё можно? Характер у неё какой-то неудобный, — Володя знает, — молчаливая она, очень застенчивая. Слово сказать боится. Да и образование небольшое: в четвёртом отучилась — и война.

Вот на ферму её всё время тянуло. Она и пошла. Уже ей группу дали — восемь коров. Правда, коровёнки так себе, да это пока — ладно. А матери не понравилось.

«Я, говорит, тут зря жизнь убила, а теперь ещё ты!» И с тех пор вроде и замечать Нинку перестала... По Мишке плачет, ждёт Володю, а Нинки у неё как будто и нету. Так нехорошо на душе — словами и не выскажешь; только и думалось: хоть бы Володя скорей приезжал!»

Ох, как она ждала его! И вот теперь бросилась, прижалась к нему, стала целовать судорожно, бессчётно и шею, и губы, и щёки. Жаркие слёзы бежали у неё по лицу, и она не стыдилась их.

— Какая ты стала! — повторил Володя, встав и тоже не утирая слёз.

Лицом Нина почти не изменилась. Лоб был и остался маленьким, как у матери, только угреватый. И нос такой же, как был: большой, некрасивый, отцовский. По-прежнему улыбку её портили дёсны —

утолщённые, с короткими зубами. Володя вспомнил, как дразнил её в детстве за большой нос, и ему вдруг сделалось стыдно. Он мельком глянул Нине в глаза: помнила она об этом или нет?— и тут же заметил, что глаза у неё стали совсем другие, чем тогда. Они смотрели, ничего не пугаясь, ничего не тая, в них была уже недетская самозабвенная доброта и бескорыстная заботливость.

Они засиделись за столом, вспоминая о прошлом, о войне. Алёна, наплакавшаяся, обмякшая и чуточку хмельная, скорбно подпёрла щёку ладонью и говорила не спеша, по временам думая о чём-то далёком и невозвратном.

Что-то уж у неё ноги плохо ходят. Старость, что ль, пришла? Всё вроде было ничего: и на ферме бегом, и дома бегом, а вот когда получила на Мишку похоронную, тут и поехала... Сделалась какая-то как деревянная вся, а чуть просквозило где — это загодя лезь на печку. Спасибо ещё Дубчиха подбадривала — после оккупации она два года ходила в председателях — с ней всё-таки полегче. Хоть пошумит к делу:

— Бабы, не робей! Двое за трое — не то, что один; сани отнимут — хомут не дадим.

Забежит: «Что, уморилась? Ну, сейчас я тебе девок подошлю». А тяжело ж было. Корм плохой — солома, резать надо, кипятком обдавать,— не одолевали насчёт сена-то. Всё возили на коровах — лошадей не было. А скотины хоть немного, но сохранили. Одна Алёна привела к себе четырёх тёлок — симменталок. Отгородила им во дворе жердями закуток, завалила соломой — будто солома положена. Вот тебе — заявляются перед обедом «спасители»: «Вег, матка, скотину!» Вывела Егоровна их на коридор — показывает: вон корова, дескать, больная — ишь, шершавая вся (схитрила баба), больше, мол, ничего нету. Овцы вон... А у самой руки-ноги трясутся: ну-ка тёлки-то заревут! Уж старалась руками объяснять — голос не подавала: услышат тёлки это — обязательно звать начнут. Ну, забрали «благодетели» овец, на том и успокоились. А уж когда отступали, — они вон где, большаком прошли, сюда не стали заворачивать, — некогда было. На блины, должно, боялись опоздать!

Симменталки все остались в целости.

— А сейчас, сынок, — вздохнула мать, — чтой-то и глядеть ни на что не хочется, — по-своему, тихо ожесточаясь, съязвила она: — Никому не нужны, что ль, стали? Вроде хоть бы уж нас
и под застрёху куда-нибудь! — Сердито поджимая губы и враскачку отворачиваясь зачем-то, она прибавила шёпотом: — Пра-аво!

Все замолчали. Где-то в палисаднике тивкал отставший цыплёнок. Нина перевела взгляд с матери на брата, и её маленькие серые глаза встрепенулись:

— Ага, наш кривой (председатель-то), он у нас присланный — он знаешь как? «Я сказал!», «Будя рассуждать-то!», «Антигосударственное болото!»

— Да пускай... как знают! — мать отмахнулась с усталым безразличием, в котором уже едва слышалась обессилевшая человеческая обида.

— Прислали! — вдруг озорно встрепенулась она. — И где они, господи, только откопали такого баламута?

Губы у неё уже забавно поджаты — сейчас Егоровна скажет!

— Едет! — она села ровно, столбикам — так ездит на линейке председатель, Прокопыч. — Домой. Наработался!

А дорога-то мимо скотного. Там бабы. Того не хватает, этого нету, корову привязать нечем. Сейчас выбегут: помогай! А он этого слова слышать не может. Едет! В самый ад. — Егоровна вытянула руки — так председатель держит вожжи. Он кривой на правый глаз, она тоже для достоверности один прижмурила, другим мечет искры: может, пронесёт?.. Ни черта! Вон они — выскочили, машут. Увидел: «Э! Бегут! Уже! Как им сказал кто».

Не улыбнувшись, Егоровна оглядывается, ищет сзади кнут, ошалело дёргает руками: «Н-но, дьявол, пронеси, господи!.. Как окружат, как закружат! Нет, теперь такой дурак не буду — вон на Прудищи объеду! Н-но, дьявол!»

Егоровна без смеху кланяется, спуская ладонь по подбородку:

— Умылись. — И со вздохом: — Так вот и руководит: не к людям, а от людей. Да растаскивает потихоньку — то барана, то поросёнка...

Володя, до сих пор прыскавший от смеха, выпрямился, в глазах его забегала вспугнутая злость.

— И растаскивает? — Он схватил папиросу.

— А то нешто! Теперь что вздумают, то и делают. — Мать говорила это беззлобно, почти смиренно. — А кому скажешь? Они вон, начальники-то, от него зависимы. За поросятами — к нему, за сеном — к

нему, осень придёт — гужом поедут за картошкой, за капустой. А нашим это и на руку! Они и подавно берут — не стесняются.

Володя вылетел из-за стола, зло сверкнув отцовскими глазами.

— Н-ну и н-на хрен они сд-дались! — запальчиво рубанул он, зашагав с папиросой по избе. — Убиваться тут для них! Пусть они эту богадельню и содержат! А нам тоже жить надо...

Нина растерянно поглядела на него, глаза её, испуганные и ещё полные надежды, готовы были умолять его о чём-то... Все надеялась; вот вернётся Володя с войны, другие солдаты домой придут, дружно возьмутся за дело, сменят Прокопыча — сразу всё пойдёт на лад. А Володя вон куда поворачивает...

9.

Порой нам и сейчас ещё не верится, что мы смогли одолеть то гигантское чудовище разрухи, которое совсем недавно смердело и зияло дырами, разлёгшись от Сталинграда до Балтики. На месте шумных городов — мёртвые горы щебня, зараставшие бурьяном, пустые и вонючие коробки зданий. На месте тысяч фабрик и заводов — дикое нагромождение глыб и скрюченных балок. Казалось, что нашему поколению не видать уже здесь ни зелёных городских улиц, ни светлых цехов.

Люди устали, обносились, натерпелись лишений.

Но при всём этом ими овладевало великое нетерпение — скорее уйти вперёд, оставить позади это унылое и скорбное зрелище. Они не могли спокойно есть, работать, ходить по улицам, чувствуя кругом мертвящее дыхание разрухи.

Жизнь трудно пробивалась из-под развалин. Убого и страшно темнели окна, слепленные из бутылок. Чахло ворковал на полях одинокий, собранный кое из чего тракторишко. Скрипели железнодорожные мосты, чудом державшиеся на деревянных клетках из шпал. Школьники сидели за корявыми партами без учебников и тетрадей.

Нужны были огромные караваны тракторов, комбайнов, многие тысячи вагонов угля, рельсов, оконного стекла, гвоздей, сахара, обуви, одежды. В запасе ничего этого не было. Всё это надо было выработать и поскорее.

Не каждый знал, сколько для этого нужно сначала восстановить заводов, шахт, электростанций; не каждый задумывался, чем кормить

армию восстановителей, когда на один только взорванный Днепрогэс пришло двенадцать тысяч человек.

Всё можно сделать, когда есть, по крайней мере, чем кормить рабочего человека.

А у хлебных магазинов стояли длинные и крикливые очереди. Закрома страны пустели, и надвигалась новая беда: засуха, охватившая самые хлебородные края и грозившая голодом. Она прошла и по полям ещё не окрепших народно-демократических государств, неожиданно осложнив обстановку в Польше, Венгрии, Румынии...

Их старший брат и сам давно не ел вдоволь, но кто, кроме него, мог понять нужду других, таких же тружеников, как и он, и бескорыстно поделиться куском хлеба?

Душой Матвей Прокопыч Прокофьев, новый председатель покровского колхоза «Восход», всё это чувствовал, хотя сам и мало повидал. И потому, когда его вызвал секретарь райкома партии и спросил: «Сколько «Восход» может сдать хлеба сверх плана?» — он ответил:

— Сколько надо, столько и сдам.

В те времена даже партийные руководители не часто придирались к таким отступлениям от колхозной демократии, как «сдам» вместо «сдадим». Без лишних прений, записав условленную цифру — 70 центнеров, Прокофьев сел на линейку и поехал снаряжать красный обоз.

В колхозе Прокопыча недолюбливали весьма дружно, вплоть до старого пегого мерина, который его возил. Это Прокопычу было отлично известно. Однако он никогда не думал, что кто-нибудь станет противиться делу, за которое он лично возьмётся обеими руками. Такого ещё не было, потому что Прокопыч редко за что-нибудь брался. Он считал себя в Покровке чужим и не любил Покровских.

Высокий, кривой на правый глаз, с узким пугливым лицом, он был изрядно суетлив и говорил отрывисто, будто отфыркиваясь словами. Это отталкивало от него людей. Впрочем, если с ним начинали разговор мягко, вполголоса, по-домашнему, он сразу становился смирным, добрым, но эту особенность его мало кто знал, кроме районных руководителей.

Своим первейшим и единственным долгом он считал выполнение того, что предписывалось сверху. Тут он был непреклонен: сам не поспит, но и другим спать не даст.

Впрочем, другие мало его интересовали. Он начинал смотреть на них только тогда, когда надо было что-то грузить и возить. Решать и думать они могли только у себя на завалинке. В колхозе решал всё он. Точнее, выполнял готовые решения, которые получал по почте и по телефону.

Когда колхозом руководила Дубчиха, она тоже выполняла такие решения. Красные обозы она организовывала каждый год. Соберёт, бывало, баб, начнёт рассказывать, что слышно с фронта, как трудно там бойцу, если голодно. Сидят колхозницы, слёзы утирают:

— Отправляй, Прасковьюшка, всё отправляй, мы-то тут проживём как-нибудь…

Прокопыч таких тонкостей не признавал, вдаваться в разъяснения терпеть не мог. Он приказывал.

Красный обоз он ехал снаряжать впервые.

Председатель был ещё где-то на полпути, а в колхозе уже знали и про обоз и про семьдесят центнеров. Почему знали — это вечная загадка районного бытия.

Не успел Прокофьев подъехать к току, как почуял недоброе. Шла уборка, в поле и на току работали все, включая животноводов. Прокофьев ещё издали услышал чей-то хриповатый, господствующий над остальными голос:

— План — это мы знаем! Это государством установлено. Это мы вперёд всех вывезли. А сверх плана — это что?

— А это наши начальнички премии себе зарабатывают, — ядовито пояснила Алёна, будто не видя, что подъехал председатель. — Мы тут, дуры, сидим, губы развесили, думаем: «Ну, слава богу, в этом году с хлебушком будем». А оно вон что! Пожалуйте вам: шиш с маслом! Умыл нас Матвей Прокопыч сверх плана!

Справа и слева загалдели:

— А ему — да чёрт вас съешь!

— Кабы он своё отдавал-то!

— Что?! — взорвался Прокофьев и тут же понял, что надо взять себя в руки. — Что кричать? Вы понимаете, кому этот хлеб?

— А тут и понимать нечего! — с искажённым лицом замахала около него руками сразу охрипшая Ольга Дубчиха. — Мы этот несчастный хлеб, может, пять лет ждали. А ты им уже распорядился? На все четыре стороны!

— За границу, — съязвила Алёна. Она ничего не слышала об отношениях своей страны с другими государствами: никто не считал нужным объяснить ей это. Как и все, она выкрикивала просто со зла, что приходило в голову. Тут каждый видел теперь только свою нужду, видел, что Прокопыч посягает на артельное добро, но все даже забыли, как в таком же случае утирали когда-то слёзы с Дубчихой.

— Он сыт, а вы, колхознички, картошку ешьте, черти вас не возьмут, целы будете! — надрывалась Ольга, и дальше уже ничего нельзя было понять.

Люди вдруг сгрудились в толпу; толпа, закричав на разные голоса и замахав кулаками, придвинулась к председательской линейке. Прокопыч — человек не из храбрых, побледнел и попятился на заднее колесо.

Всё, что скопилось у этих людей за долгие годы оправданных и неоправданных трудностей, жертв и обид, — всё вырвалось теперь наружу с бранью, со слезами и обрушилось на Прокопыча.

А он не понимал существа беды, не понимал, что оказался каким-то клином, который разъединяет неразъединимое: хозяев и хозяйство, не даёт людям самим думать о нуждах артели и страны.

Еле успел он вскочить на линейку и задать стрекача.

Алёна слышала потом, что ночью хлеб с тока «тащили почём зря», а утром, как ни в чём не бывало, девчата спокойно запрягли быков, нагрузили подводы хлебом, и на станцию тронулся сверхплановый обоз...

Мысль о том, что её просьбы, требования и протесты тут слушать некому, теперь окончательно завладела Алёной. Ей стало безразлично, что и как делается в колхозе. Все эти годы колхоз отдалялся от неё, словно уходил из рук, становился чужим. Это был болезненный процесс, хотя он напоминал о себе лишь в минуты обид и озлобления.

Прокофьев что-то там продавал, что-то покупал, куда-то вкладывал средства — люди узнавали об этом случайно, точно это делалось не в их артели, а в соседней. Это было самым верным средством отчуждения хозяев от хозяйства.

Когда полагалось утвердить производственный план, из зала кричали, что незачем сеять ячмень и яровую пшеницу — они тут не родятся, пусть лучше земля пустует,

чем зря её ворочать,— машины гонять. Прокофьев, как ошпаренный, подавался вперёд горбоносым лицом и хмыкал с насмешливой досадой:

— Эт-т, антигосударственное болото, а! План — не понимаете? Эт, болото! Вот попал-то, а? — Он обводил всех возмущённым взглядом и, не видя после своих слов в «болоте» никакого раскаяния, совсем падал духом: — Вот и поруководи!

За утверждение такого плана никто руку не поднимал, против тоже не голосовали, но и воздержавшихся не оказывалось.

— Принято единогласно, — находчиво заключал Прокопыч.

Ячмень и яровую пшеницу сеяли, едва собирали семена, и на следующий год снова шумели: «незачем». Снова кипел и потел Прокопыч, доказывая полное политическое невежество восходовцев и публично кляня свою горькую судьбу. И опять сеяли.

Алёна догадывалась, что это не одни прокофьевские выдумки: над ним тоже были начальники, как и над Кругловым. И её злило то, что эти начальники делают наперекор людям, хотя видят, что и государству от этого выходит плохо. Заодно её злили и налоги, и большие обязательные поставки; и однажды вечером, дома, остановившись против большого портрета, она покачала своей маленькой старой головой и взмолилась:

— Ох, приехал бы ты, батюшка, да глянул! Не туда мы идём... Не туда...

Долго и трудно отпадала она, живая и нужная, от больного тела коллектива. Нелёгким было её возвращение в узкий и бестолковый мир своего хозяйства. Но она возвращалась и душой и телом.

10.

Володя действовал.

С детства он был человек гордый и горячий, «сумасшедший», как говорила о нём мать. «Если я сказал — всё!» — любил он запальчиво повторять выражение, которое нравилось ему своей непреклонностью. Всякий протест он привык выражать в самых беспощадных формах и дальше идти напролом.

Когда он сказал: «Нам тоже жить надо!» — это значило, что он решил в одиночку налаживать свою жизнь и от этого решения не отступит.

У Малаховых вышло так, что Володя рос маленьким хозяином в доме. Мать все дни была на работе, Мишка с отцом — в Калуге, Нина — ещё ребёнок. Всё домашнее хозяйство — на Володе. Придёт он из школы — и за работу. Либо мастерит кроликам новые клетки, либо сажает и пересаживает в палисаднике сирень, либо переделывает что-нибудь в избе, в саду и громко декламирует при этом стихотворения, которые учил наизусть.

Солдатом он побывал в Восточной Пруссии, присматривался к тамошнему житью-бытью. Кое-чему завидовал, кое-что взял на заметку.

И вот теперь, дома, он целыми днями строгал и тесал, обновлял и строил. Мать удивлялась, радуясь, откуда у него что берётся! И мудрёные запоры, и хитроумные поилки для цыплят, и каменные дорожки, и даже своё собственное электричество!

Над берёзой, росшей около дома, возвышалась толстая мачта. У самой верхушки её распростёр лопасти размашистый пропеллер. За ним виднелся похожий на бочонок небольшой электрогенератор, от которого спускался вниз чёрный, в палец толщиной, кабель.

Хотя в селе и не было электричества и даже разговора об этом не вели, прохожие, спешившие в лавку или в сельсовет, поглядывали на Володину индивидуальную ветроэлектростанцию с таким любопытством, с каким смотрят на старомодное чудачество.

Володя, насвистывая, возился на берёзке со своей механикой и отпускал всем согласно настроению дурашливые шутки.

— Ну и что она, к примеру, — для чего годится? — спросил Прокопыч, проезжая мимо и остановив мерина.

— Гайкя-то? — по-чудному, птичьим голосом, отозвался Володя, передразнивая «злоумышленника».— Мы из гаек грузила делаем. Потому — лучине гайки и не найтить.

Прокопыч поёрзал, соображая, понял его малый или нет, а Володя продолжал ему втолковывать своё:

— Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который не понимающий...

Прокопыч дёргал вожжи, мчался прочь.

— Уй, сними-ка, Елдыхин, с меня пальто, — дурил Володя, глядя вслед загремевшей председательской линейке: — Ужас, как жарко. Должно полагать — перед дождём.

Проводки он тянул и в избу, и в горницу, и на двор, где стояла корова, провёл электричество даже на печку, чтобы зимой удобнее было читать разные юмористические рассказы.

— Вот ещё аккумулятор достану, — сказал он матери,— тогда никаких ананасов не надо.

Радиофикация у него была стопроцентная: стоял собственный «радиоузел». Был он, правда, детекторный. Купил Володя нехитрый приёмничек и от него протянул «сеть», везде расставив розетки для наушников. «Узел» действовал вовсю: он добросовестно транслировал московские передачи на печку, в горницу — на Володину кровать и даже в летнюю резиденцию — на чердачный сеновал.

Мать тихо радовалась, глядя на сына. Они почти всё время оставались вдвоём, и ей было спокойно с ним.

Он приучал её слушать радио, показывал, как включать и выключать приёмник. Алёна никогда не слышала голоса радио и сперва немножко пугалась наушников. Когда Володя надел их на голову матери и прижал к ушам, она вдруг затихла, бессмысленно водя глазами.

— Ну, что там? — спрашивал сын, приподняв наушники.

— Говорят! — отвечала мать, боясь пошевельнуться.— Сперва мужик: говорит, говорит, говорит, потом заморится — баба...

— Ну, а что говорят-то?

Алёна слушала снова, водя глазами, потом уже сама приподнимала наушники:

— Будто и по-нашему, а не пойму. Ас-намблей каких-то...

Постепенно она привыкла и, садясь утром чистить картошку, надевала поверх платка наушники. Оттуда доносился далёкий спотыкающийся перезвон, потом густой, чуть дребезжащий удар колокола. Шесть раз. Алёна уже знала: это в Кремле. Там тоже рано встают. В полночь туда ещё ехали машины, было слышно, как они негромко переговаривались гудками; и вот снова всё шумит, сигналят автомобили, как в самый разгар дня.

В утренней тишине от этих мыслей Алёне иногда почему-то становилось тоскливо, будто все её бросили в одиночестве и никому она больше не нужна.

С фермы она ушла. Простыла весной, получила воспаление лёгких и с тех пор на работу не возвращалась. В мыслях она была довольна, что так просто, без переживаний оставила телят. Теперь хоть глаза её не видели, что там творилось. А в душе иной раз и обидно было.

Вставала она теперь по-прежнему чуть свет и до полночи топталась — присесть некогда было. Только подоила, прогнала корову — тут цыплята пищат, там утки пришли, а там гляди, чтоб индюшат ястреб не задрал, тут печка прогорает. Туда-сюда, телёнка напоила, завтрак собрала, глядь — солнце уже вон где, а свиньям ещё крапива не рублена, в избе как Мамай прошёл. Посуду прибрала, — глядь, уж бабы на полдни идут коров доить. А во рту ещё крошки не было. Прибежала с полден, вспомнила: огород-то зарос весь, а тут уже цыплята обкричались; села кормить — настырные куры так и шнырят, хватают кашу из-под рук. Алёна отгоняет их, сокрушаясь, что дьявол их не видал и что не заедят их *никакие те!* Немного погодя она с метлой гоняется за утками и индюками, одних провожая на речку, других — на пустырь; а кур уже полна изба, хозяйничают и в котлах и на столе. Вбежала было на крыльцо, увидела: ястреб над индюшатами вьётся. Спасибо, Нинка показалась — с фермы шла.

— Нин, черти с вами! — хлябая на бегу сапогами, кричала мать. — Ай ослепла? Задерёт, окаянный, задерёт!

Ястреб пускался в пике, а Нинка была ещё далеко, у Алёны перехватывало дух:

— Шу-гу, Нечистый! Нин!.. Чтоб вы уж провалились там с вашей работой!

Нина бежала послушно, как девочка, но у неё чуть не срывалось с языка: «На что ты их развела столько?»

Вслух сказать этого нельзя. Мать крикнет: «Ай разбогатела? Лопать-то что будешь? Твоими «палочками», что ль, все насытимся?

«Палочками» она называла трудодни, на которые уже много лет не выдавали ни хлеба, ни денег. В последнее время Алёна не щадила дочь — при каждом случае упрекала её «палочками». Все Малаховы работали и зарабатывали. Володя поступил счетоводом в школу.

Андрей, хоть он и стар уж стал и надоело ему жить одиноко в городе, был шеф-поваром в кафе и привозил деньги. Алёна тоже не зря моталась. Молоко, картошку, огурцы — всё это она доставляла. А Нина не доставляла ничего — ни денег, ни продуктов.

Она стала будто нахлебницей в семье.

Так было решено на семейном совете. Кто-то, хотя бы один от семьи, должен работать в колхозе, иначе Малаховым сразу Устав покажут. Но получилось, что родная семья толкнула её туда и отвернулась. Не спрашивай ни заботы, ни ласки, ни нарядов.

Она ходила в стоптанных сапогах, пропитавшихся навозной жижей, в замусоленной с отрёпанными рукавами стёганке. Да ей уже и всё равно было, что надеть: рваный джемпер или тёмную материну кофту, — она не следила за собой.

Лицом она стала совсем невзрачной. Большой нос выделялся на маленьком узком лице с настороженными серыми глазами. Как и всякий внешне некрасивый человек, она могла быть интересной, если бы не угнетало и не омрачало её то, что она некрасивая и никому не нужная.

Дома её перестали замечать. Тихо появлялась она в избе и незаметно исчезала. Ни завтракать, ни ужинать никто её не ждал. Если она приходила к середине ужина, то осторожно садилась за стол, будто боясь нарушить здешние порядки, молча ела, не участвуя в домашних разговорах, и шла спать.

Только один раз зимой, умываясь, она сказала, ни к кому не обернувшись;

— На этой ферме тому работать, у кого сердце железное. Мучается скотина, а ты ничего сделать не можешь...

Хотела добавить, что кормить коров нечем, они ревут и самой с ними хоть реви, но никто ей не отозвался, и она замолчала. Алёна протопала с ведром в сенцы и, только вернувшись оттуда, сказала тоже будто самой себе:

— У них так-то.

О колхозе мать говорила теперь, как о чём-то чужом и непоправимо нескладном. «У них всю жизнь так», «Они наобещают — разевай рот-то». А один раз, когда Прокопыч передал через Нину,

что мать тоже заставят работать на ферме, Алёна отбрила:

— Ишь, дураков нашёл твой председатель: на грош пятачок ищет! Я ему наработаю...

Постарела за последние годы Алёна, умаялась, стала неряшливее и по вечерам дремала за столом. Лицо её сморщилось, краски исчезли, оно приобрело ровный бледноватый цвет теста.

Она не жаловалась, но и не тешила себя никакими надеждами. Кажется, ей нравилось повторять безразличным тоном грубую и страшную фразу:

— Скоро уж, детки, мне подыхать.

И вдруг она начала оживляться. Как ветром унесло её мрачные реплики и шутки.

Однажды утром Егоровна надела наушники и услышала разговор о новом постановлении. Давно она не интересовалась словесными передачами, иногда слушала только песни, а тут как подсказал ей кто. Послушала в семь часов, задумалась, потом в восемь, а потом как начали рассказывать без четверти девять — и до обеда. Но она не уморилась слушать, только мало запоминала. Поняла, что налоги теперь скинут, что поставки вроде сбавить должны, — и сажай теперь на своих сотках, что хочешь, держи больше птицы, и овец, и поросят — налог один.

В её давно уже недоверчивой душе таилось и сомнение: а правда ли? Но в воскресенье все сомнения разлетелись впрах: люди тащили с базара кто овец, кто поросят.

Завистлива человеческая душа — в следующее воскресенье покатила на базар и Егоровна. Захотелось ей хоть пару ярочек ещё купить — овец развести побольше.

Век ей не забыть этой покупки. Егоровна всем рассказывает о ней и каждый раз с трудом удерживается, чтобы раньше времени не рассмеяться.

Сторговала двух ярок. «Котные?» «Ну как же, через два месяца котиться». А тут все перебивают, хватают — стать не дают. Ну, глянула — дескать, рогов больших нету, головы у обоих не лобастые, как и должно у ярок быть. Подумала ещё: а какой хозяину расчёт обманывать? Да ведь вот как нечистый её попутал!..

В этом месте рассказа Егоровна стыдливо прикрывает концами пальцев рот, расползающийся в грешной

улыбке. В повозку-то клала — что б ей глянуть-то хорошенько! Ну, побыли эти ярки у них тут-то месяца два не то три. Одна окотилась, другая что-то никак. Походит вокруг неё Егоровна, поглядит — ничего понять не может. Позвала Володю:

— Да глянь ты её, малый, может, она яловая. Пощупай, есть у неё что-нибудь.

Володя пощупал:

— Есть, мам: яйца!

— Да ну тебя, не дури.

— Ей-богу, мам, баран.

Смешно стало Егоровне, ушла, всплёскивая руками.

Становилась она всё веселее, но от хозяйства у неё совсем теперь голова кругом пошла.

Егоровна не заметила даже самых больших новостей, которыми каждый день наполнялась деревня после сентябрьского Пленума. Слышала, что председателем колхоза теперь выбрали агронома, Пахомова. Кто-то сказал, что он парень дельный — взялся и за людей, и за постройки, и за клевера. Тряховы говорили, что очень горячо берёт — и значит, скоро остынет.

У Алёны не было большой охоты гадать, чья правда. Она знала своё: колхозу теперь не подняться, будь тут хоть золотой руководитель. Другие чьи-нибудь колхозы, может, и подымутся, а этот засосало в самую трясину на дно — этот теперь только если разогнать...

Однако нет-нет да и приходило ей в голову: какой же это Пахомов? Уж не тот ли, что ругался один раз в правлении с Прокопычем? Алёна тогда сильно обратила на него внимание. Из райзо он приезжал, невысокий такой, смелый, глаза у него вроде чуточку косили. Алёне запомнилось тогда, как он гневно говорил председателю:

— Приедешь, разъясняешь вам, советов надаёшь ворох, а толк какой? Уехал — и всё осталось, как было. Ей-богу, поставили бы уж нас самих руководить колхозами. «Вот вам, дескать, братцы. Внедряйте тут всё, чему вас учили». Так нет, сиди в райзо, пиши бумажки. Осуществляй агрономическое руководство! Чертовщина какая-то.

Егоровна долго тогда смотрела на него...

Как-то вечером Нина пришла домой, по-прежнему тихая, но, подсаживаясь кушать, сказала, словно досадуя, что всегда опаздывает к ужину:

— Опять Пахомов собирал... Каждый вечер собирает...

Алёна промолчала, хлебая суп.

— Про московских доярок рассказывал, — продолжала Нина, ни на кого не глядя. — Книжки принёс, показывает: «Вот посмотрите: Герои. По пять тысяч надаивают».

— Да у людей-то герои... — устало отозвалась мать.

Нина не решилась ни поддакнуть, ни возразить и сказала:

— Угу.

Все молчали. А Нине что-то не терпелось:

— Говорит: «Я у них в квартирах был: ковры, диваны, радиоприёмники».

Мать с насмешливой досадой качнула головой и посоветовала:

— Ты б ему сказала: «На диванах нам сидеть добре мягко, боюсь, ну-ка не привыкнем!»

— Что ты, мам! — осмелилась возразить Нина. — Он знаешь, какой? Всё понимает! Говорит: «А вы что, не такие люди? За то, говорит, и боремся, чтобы все хорошо жили!»

Алёна опустила ложку, перестала жевать, припоминая что-то. Потом вздохнула.

На другой день она сама спросила:

— Ну как там ваш Пахомов? Не запьянствовал ещё?

— Машку Коврову прогнал — заведующую, — хмуро сказала Нина. — Молоко домой таскала. Вот все обсуждали.

Через неделю Алёна спросила опять:

— Не повышают ещё там вашего Пахомова никуда?

— Коровник строит, — не поняв вопроса, сказала Нина. — И кормокухню. К маю, говорит, радиоузел будет готов.

Ещё спустя дня три Нине пришлось рассказывать весь вечер: Пахомов возил их на экскурсию в передовой колхоз. Так много Нина никогда не говорила. Она спешила, то и дело повторяла «Ой, что ты!», увлекалась отступлениями и забывала, с чего начала.

— А вообще ничего особенного, — пожала она плечом. — Пахомов дорогой говорит: «Ну, что, девчата, неужели ж мы их не обгоним?» Наши как зашумят: «Обгоним!»

Егоровна стояла, покойно сложив руки на животе и задумавшись. «Обгоним». Это слово встряхнуло её. Оно вдруг открыло ей то, чего она до сих пор не замечала: возрождалась та добрая и радостная коллективная сила, которая когда-то поднимала Егоровну. Возрождался коллектив.

Алёна так взглянула на дочь, будто Нина отняла у неё что-то.

А дочь вертела в руках трубочку из денег: принесла первую получку — 62 рубля. Она не знала, как их отдать матери. Сначала думала при всех положить деньги на стол, разгладить ладонями и сказать: «Вот... Теперь и мне зарплата пошла». Дальше ещё что-нибудь такое, с подковыром: «Не думайте, Нинка тоже не пустую мельницу крутит, на чужой шее не сидит». Но 62 рубля — деньги небольшие. Нина помяла их и сунула матери под ладонь, засмущавшись:

— Прибери, мам...

Алёна развернула трубочку:

— Чьи это?

— Да... — Нина махнула рукой с ненатуральным пренебрежением. — Выдавали там. За надои... Чепуха...

— О-о! — не то насмешливо, не то с весёлым удивлением протянула Алёна, перебирая деньги пальцами. Первые деньги, полученные в колхозе!

В конце лета Нина ездила в Москву на выставку. Оттуда вернулась какая-то новая, с разбежавшимися от обилия впечатлений глазами.

— Ой, да что ж это! — всплёскивала она руками, крича на весь дом. Голос её срывался. — Если бы ты, мам, видела эту корову! Вымя — ну котёл! До земи.

Все собрались за чаем и слушали её, как высокого столичного гостя, приобщившегося к чему-то диковинно великому. Незаметно для себя Нина становилась самым шумным человеком в доме. Алёна, склонив голову набок, глядела ей в лицо мягким материнским взглядом, в котором теплилась тихая улыбка.

— Ух, ну фонтаны, наверно, — вот сила! — пристрял Володя; он много слышал о выставке по радио.

— Ой, все в золоте, музыка кругом, вода шумит, как лес, даже голова кружится. — Нина сияла. Радость рвалась из неё, разжигая безудержным блеском глаза, и в этом жаре таяла, умирала та робость, которая ещё подавно связывала девушку. Возбуждённое, разрумянившееся лицо её с голубенькими, как у ребёнка, пылающими глазами, было красиво по-особому. Это была красота радости и одухотворения.

Ой, что ж это! — поминутно восклицала она.

Отец, приехавший накануне домой, забрался на скамейку с ногами, поджав их под себя, и раскатисто хохотал.

— Да-да-да! — твердил он, ёрзая от удовольствия.

Нина часто взглядывала ему в лицо: он рад за неё.

Но было в нём что-то и такое, что вызывало жалость.

Нина спустила платок на плечи и стала рассказывать уже всё по порядку, как специалист своего дела. Она свободно пользовалась словами «продуктивность», «рационы», «породные качества», и её слушали серьёзно. Никогда так хорошо она не чувствовала себя дома!

— Налей, мам, ещё,— отодвигала она пустую чашку с блюдцем. Мать поспешно вставала, отвечая, как гостье:

— Пей на доброе здоровье!

Нина легко смеялась в этот вечер и даже в зеркало раза три поглядела на себя.

Андрей не отводил от неё глаз. Уставится и смотрит, будто хочет извиниться за что-то, и непонятная улыбка, стянутая болью стариковского унижения, собирает морщины под глазами.

— Мне ведь с тобой поговорить надо бы, дочь... — признался, наконец, он. — Дело есть.

Нина с удивлением смотрела на него. Он вдруг стушевался, суетливо начал прикуривать и пробормотал:

— Не сейчас, потом... Завтра.

Стар стал Андрей Малахов. Но не тяжесть работы, не кухонная жара изматывала его. Одиночество! Двадцать пять лет на случайной квартире среди чужих людей! У другого — устал ли он, нездоров ли — всегда рядом семья, родные люди. Им радостно — и он счастлив с ними. У него радость — и в семью она приходит с ним. А Андрей — один, как изгнанник...

Тяжело. Но домой вернуться ещё тяжелее. С какими глазами он придёт в колхоз? Люди вынесли на своих

плечах адские муки, почти подняли на ноги всё артельное хозяйство. А от его трудов, от жизни его там нет ни единого колоса, ни одного гвоздя. И вот он теперь заявится на готовенькое — блудный сын колхоза!

С такими мыслями Андрей шёл накануне со станции домой. Выйдя из леса, он остановился и посмотрел на село. Родное и чужое чем-то! В стороне белела длинная крыша. Андрей догадался: отделали новый скотный двор. Рядом были навалены брёвна — строительство продолжается. И эти стройки не звали, не ждали его — он был чужой для них, неизвестный. Ему стало почему-то обидно от мысли, что о нём тут никто не помнит, никто не возлагает на него никаких надежд.

И тут он увидел берёзки на околице. Любимые, с детства родные берёзки! Казалось, только они одни и ждали его здесь и берегли ему свои воспоминания о невозвратной юности.

Андрей вдруг сжался в комочек и заплакал.

Ещё больнее стала дума о том, что в артели, к которой он шёл, его ничего не было. А если бы там было от него что-нибудь — его старание, его сила и мысль — колхоз не ослабел бы так. Значит, и Андрей виноват в этом ослаблении.

«Скажут... — размышлял он. — Люди скажут: это через тебя, через таких вот блудных сынов нам тяжко было. А теперь мы и без вас обойдёмся».

И была только одна утешительная мысль. От его семьи, от семьи Андрея Малахова, в артельном котле всё-таки много кое-чего найдётся. Одна Нина сколько сил вложила. Да и сам он не в нахлебники идёт!

Конечно, резко говорить он не должен. Лучше, если бы кто-нибудь из колхозников, из хороших работников о нём замолвил слово председателю.

«Нину, конечно... Её лучше попросить», — пришло ему на ум, когда он за чаем любовался радостью дочери.

Но сразу, с налёта говорить о таком серьёзном деле не решился. «Оглядеться надо», — подумал.

Утром, собираясь на дойку, Нина спрятала свой наряд, в котором ездила в Москву, и опять достала стоптанные сапоги и рваный, замызганный джемпер.

Она подержала в руках эту пахучую рвань и задумалась. Неужели она могла ходить в этих отрёпках?

Сунула джемпер в голенище и весело зашвырнула сапоги па потолок:

— Вечная вам память, вечный покой!

Надела она свежую кофточку с короткими рукавами, по-городскому повязала косынку, обула свои праздничные аккуратные сапожки и пошла на работу.

Вслед за нею пошёл и отец.

Приблизившись к большому, покрытому шифером скотному двору Андрей залюбовался им. Он сбавил шаг и заложил руки за спину, но тут же сообразил, что так ходят только посторонние, дачники, и опустил руки по швам. Из тамбура вышли девчата, среди них была и Нина. Он робко подошёл к ним, поклонился и зачем-то снял фуражку:

— Здравствуйте, девочки.

Девчата ответили хором, и Нина ответила, но ему показалось, что они посмотрели на него, как на непрошеного гостя. Он хотел ещё что-нибудь сказать, но не нашёлся и стал вместе со всеми смотреть на коров, которые паслись ночью и теперь шли на дойку.

Грузная рыжая Красавка быстро шагала впереди стада, взмахивая головой в такт ходу и ещё издали отыскивая глазами свою доярку. И вдруг, вытянув к Нине морду, затрубила на ходу призывно, протяжно, всё убыстряя шаг.

Знаю, Красавочка, знаю! — откликнулась Нина.— Насилу донесла, знаю!.. У неё соски слабые, — повернулась она к отцу. — Всегда впереди летит: дойте её первую!

Андрей стал в сторонке, глядя, как засуетились девчата с подойниками. Шум и толкотня скоро улеглись, и в помещении установилось ровное жужжанье молочных струй, пробивающих в подойниках пену. «Как фабрика», — подумал Андрей.

Кулаки у Нины работали чётко, как автоматы. Андрей не подозревал, что так быстро может работать человеческая рука.

Его отвлекла корова, которая стояла по другую сторону прохода задом к Нине, чёрная, гладкая, с небольшой симпатичной мордой. Пожевав клеверку, она оглянулась на Нину: мол, скоро ты там? Нина занята, не смотрит. Корова потопталась, попробовала заглянуть ей в лицо с другой стороны, из-за левого бока. Никакого внимания!

Занят человек. Чёрная не выдержала и, дёрнув боками, издала звонкое дребезжащее мычание.

— Знаю, Мушка, знаю! — отозвалась Нина, всё не оборачиваясь. — Сейчас твоя очередь.

Услыхав своё имя, Муха разразилась рёвом, полным недовольства и отчаяния.

Андрей смотрел на Муху жалостливыми глазами — теперь он ко всем был жалостлив тут. Был бы свободный подойник! Андрей сел бы к Мухе — он ведь доил коров, когда надорвалась Алёна, — может, быстро бы не сумел, как Нина, но... это была бы большая радость!

Зашли два парня. Один высокий плечистый и толстогубый, другой дробненький, с тонкой шеей. «Практиканты из техникума» — догадался Андрей. Нина говорила дома о них: будущие зоотехники. Толстогубый подошёл к ней. Она встала, подвела его к крайнему стойлу, лёгкая, уверенная, как молодая хозяйка.

— Дои, Лёня, вот эту, Голубку, — она спокойная.

— Да у меня реакция быстрая, боксёрская, можно и беспокойную, — ответил парень.

Нина отдала ему свою скамеечку, принесла свежее полотенце — положила на колени: «Чтоб ты брюки не забрызгал».

Отец улыбнулся и пошёл к другим дояркам.

Когда Нина пришла обедать, дома спорили об индюках. Но едва она перескочила порог и сказала: «Ну, молодец у меня Лысена», — как все повернулись к ней.

— Первотёлка-то?

— Да. Вот четвёртый раз её подоила — по два, по два с половиной литра за раз! — Нина говорила, гремя умывальником.

— Хо-ро-шо-о, — отбросив свой спор об индюках, протянула Алёна. — От первотёлки! Что ж ещё надо?

— А доиться не любит! Ногами бьёт! — Зажмурив глаза, Нина намыливала лицо. — Пришлось спутать. Ух, что ж она делала!

Егоровна слушала с беспокойством, а сказала успокоительно:

— Ничего, ничего. Пускай. «Делала!» Ты на это не гляди — привыкнет. — Она подала дочери чистое полотенце. — Что ж ты хочешь — первый раз!

За обедом, которого теперь никогда не начинали без Нины, отец сказал:

— А я ведь совсем приехал-то, дочь.

Нина подняла на него глаза. Отец! Он, может быть, больше всех рад тому, что взялись теперь и за их колхоз!

— Хорошо-то, пап! — звонко прошептала Нина. И только теперь она заметила, как сдал он. Турецкий нос его, нависший над седыми натопорщенными усами, стал суше и бледнее.

— Хочу в вашу компанию, дочь, проситься. В пастухи на лето думаю.

— Уж ты напасёшь, — портками натрясёшь! — вмешалась Алёна.

— Напасу! — загорячился от такого недоверия Андрей. — Я уж, если возьмусь — я не буду шаляй-валяй — стереги да гоняй. Я животных понимаю.

— Хорошо.. Поговорю с Пахомовым.

Нина сказала это таким веским тоном, что отец поразился. Только у больших начальников в тресте столовых он слышал такой тон.

Через неделю Андрея назначили ночным конюхом. «Временно, — сказал он дома. — Вроде испытательного срока». Но работал он и днём: драл лыки, вил верёвки, чинил сбрую, а в свободную минуту бегал в правление или к бригадиру и спрашивал, есть ли ещё какая работёнка.

Пахомова он полюбил с первого слова, хотя тот и не был ласков с «блудным сыном». Приходя домой, он всегда что-нибудь рассказывал о председателе, о его замыслах и не скрывал своего глубокого уважения к нему.

— Пахомов сказал: к октябрьским электричество будет, — сообщил он однажды за обедом.

Алёна, привыкшая иронически относиться ко всяким председательским обещаниям, молчала.

— А со светом и на фермах совсем другая жизнь, — продолжал Андрей. — Ночью вошёл, включил, — пожалуйста, всё тебе видно: какая не ест, какая неловко легла... К октябрьским, сказал, будет. А нам что ж тут, от МТС-то два километра каких! Полсотни столбов...

— Для кур хорошо свет-то, — проговорила Егоровна. — По радио вон рассказывали: если пораньше включать... — вздохнула и сказала ещё: — А бабы чего-то жалуются на вашего Пахомова — крутой вроде...

Андрей прожевал, вытер усы, объяснил:

— Что он резкий, то резкий. Но с нашими иначе нельзя: ты её начинаешь уговаривать, она ещё хуже калянится.

А он тоже человек... — Андрей снизил голос, добавил, как о своём друге: — По ночам в голове-то уже, говорит, как молотками стучат...

...Егоровна оттаивала медленно — день за днём, неделя за неделей.

Она теперь бывала довольна, если дочь уезжала куда-нибудь на совещание и просила поработать за неё на ферме. Старая телятница наводила в стойлах такой порядок, что девчата даже серчали: «Ишь, примерная какая выискалась!» А когда Нина привозила грамоты, премии или приносила деньги — помногу стала приносить, иногда по тысяче — мать становилась совсем тихой, а один раз и поплакала.

Но домашнее хозяйство всё ещё кружило её. Она столько развела всякой всячины, что не знала ни сна, ни покоя.

Весь день она бегает за индюками, клянёт прожорливых уток, выпроваживая их на пруд. Три кадушки ржи этой ораве стравили — что ж это за прорва такая? А тут ещё тёлка неизвестно где: подхватилась — и поминай её; цыплята разбрелись...

— Нин! — в полном отчаянии кричит запыхавшаяся Алёна. — Давай их загоним, что ль, провалиться б им!

Нина мыла пол. Вышла статная, ровная, с засученными рукавами. Сдержанной походкой сошла с крыльца. Руки у неё качались обе разом вперёд и назад, как будто Нина хотела выразить этим особую снисходительность к чудачествам старой матери.

— На кой чёрт ты их развела такую пропасть? — тоном старшей сказала она.

Алёна не закричала, не замахала руками, стала неуверенно оправдываться:

— Ну давай всё покупать будем. В деревне жить и всё — с базара..

Нина, улыбнувшись так, как это делают взрослые, обнимая несмышлёного ребёнка, сказала:

— Что ты, мам! Ты подумай сама-то: ну надо ли нам столько?

Жизнь убыстряла ход. Многое становилось чудным и ненужным, как забытые и всё же висящие на стенах Володины наушники, заглушённые громкоговорителем, или как сломанная индивидуальная ветроэлектростанция. Каким нелепым одиночеством и отсталостью теперь

веяло от неё, когда вблизи, подступая к селу, рассыпались пронзительно-яркие электрические огни!

12.

Письмо Егоровны, написанное крупными ломаными буквами, мне запомнилось со всеми подробностями.

«Мы, слава богу, пока живы и здоровы, — писала она безо всяких знаков препинания. — У нас всё по-старому, всё пока благополучно. Вот проводят нам электричество. Радио ещё раньше провели, в избах играет и на улице, против кооперации. Приезжайте, избу и горницу теперь подновили, подрубили нижние венцы. Теперь хорошо стало. И пол в избе перестелили, а то энтот уже плохой был. Хотели крышу шихвером перекрыть, да трудно достать — сильно строются...».

Когда я рассказал об этом письме Пахомову, Иван Дмитриевич рассмеялся:

— Всё, значит, по-старому на Руси: провели радио, свет и строятся очень сильно. Эт-то крепко!

Мы ходили по полям, оглядывая клевера, озимую пшеницу, картофельные бурты.

В поле тоже царила осень. Под самым селом, на огородах, жгли картофельную ботву. В остывшем воздухе заманчиво для охотника пахло дымком. Среди потускневшей стерни там и тут пробирались, вкрадчиво переступая, кошки. Увидев людей, они затаивались, прижимаясь к земле и провожая их жёстко настороженными глазами. В спокойном царстве бледных тонов ярко-зелёные поля озими казались раскрашенными.

Была пора, когда уже незачем спешить с одного поля на другое, оттуда — в контору, в райцентр, ещё куда-то. Всё отдыхало и словно собиралось с мыслями.

Иван Дмитриевич шёл, сунув руки куда-то под грудь, в косые карманы телогрейки. Я часто встречаю его в этой новой защитного цвета стёганке с откладным воротником, в зеленоватой фуражке, в резиновых сапогах с рантами. В таком одеянии удобно всюду: на росистых полях по утрам, на пленумах райкома, на сенокосах у костров. Небольшого роста, со спокойными и немного косившими глазами, он привлекал к себе людей собранностью, смелостью в делах и широтой интересов.

Мы говорили о многом: об охоте, о педагогике, о лугах, расчищенных рельсовой бороной уже на сорока гектарах, о том, какие картины сейчас хорошо бы написать художникам, и о затратах труда на центнер кормов.

Минутами мне вспоминался Круглов — мелкий и хитрый собственник, заспанный, небритый, со свалявшейся шапкой волос и замусоленным воротничком ситцевой рубахи — образ председателя колхоза, к счастью, ушедший в прошлое.

Спустившись к лугу, Пахомов показал на кучу свежего хвороста:

— Отдохнём? — и первым повалился на хворост, не вынимая из карманов рук.

Мы закурили.

— Иногда думаю, — прищурившись и выпуская дым куда-то вдаль, проговорил он, — какими были бы эти люди, если бы мы не допустили ослабления колхозов! Даже представить трудно... А жизнь? Тут бы не соломенные крыши торчали. Ребятишки давно бы, наверно, в свою музыкальную школу ходили.

Сплюнув, он сменил тон:

— И знаете, зло берёт: сколько в «Восходе» было председателей! Назывались руководителями и коммунистами и буквально же испохабили идею коллективного труда. Ведь та же Алёна Малахова, — она не была тяжёлым и злым маловером, её такой сделали. А теперь вы представляете, сколько надо нервной, физической и ещё чёрт знает какой энергии, чтобы всё это перебороть? Приходишь ведь к разбитому корыту: на шесть сараев двое ворот, запрягать не во что, кругом долги. И люди уже ничего слушать не хотят — ничему не верят. Придёшь домой — все мышцы дрожат. А колхознику до этого какое дело?

Это уже досада в нём заговорила. Нет, колхозникам есть дело и до этого. Мне вспомнилось, что рассказывала о нём утром Егоровна, и я перебил Ивана Дмитриевича:

— Принял, — говорит, — разбитое корыто: поросята дохнут, крыши текут, а за душой — ни копейки... Всё на ноги поставил, всё собрал, — ладонями она сгребала в кучку что-то на коленях, показывая, как, примерно, собирал Иван Митрич «разбитое корыто».

Пахомов усмехнулся и далеко закинул окурок:

—Вот народ, а!

—А вчера, говорит, дорогу привёз. Говорит, висячую-то, как её? Подвесную! Сам ездил!

Мы рассмеялись.

— Смотри, а! — шутливо почесал Пахомов за ухом.— Всё учитывается!

Он задумался, лёжа на локте и глядя туда, где воркотал трактор с рельсовой бороной. Чуть косившие серые глаза его выровнялись.

— А ведь она приходила ко мне вчера вечером, Алёна Егоровна. Я думал, вы её настроили. Праздничная такая, в новом подшальнике. Дождалась, когда все вышли, говорит: «Я к вам по большому делу». Садитесь, говорю, ближе. Она пересела к столу. «Восемнадцать лет, говорит, я проработала на ферме, телят колхозу растила. Самые, считай, тяжёлые годы мне достались. Здоровья много положила. Ну, пришлось уйти — заболела и сил уж никаких не было. А сейчас хожу и всё думаю: выбилась я из колеи и мои восемнадцать лет теперь вроде уж не в счёт... Эх, говорит, вернуть бы мне эти восемнадцать!»... Посидела, помялась, румянец у неё выступил, потом осмелилась всё-таки: «Иван Митрич, что, нельзя меня теперь телятницей поставить?»

—Ну и что вы ей ответили?

— Понимаете, места-то заняты! Там у нас комсомолки работают. Сказал, подумаем.

—Да ведь это большое событие, что она к вам пришла! — вырвалось у меня. — Знаменательное событие. Егоровна вернулась в колхоз. Сама вернулась, без агитации! Вы о её жизни-то знаете что-нибудь?

—Да нет, собственно...

—О, тогда стоит послушать.

Мы закурили ещё, и я рассказал ему о ней всё, что знал.

13.

В воскресенье у Володи был выходной.

С самого утра он водил меня по саду, по огороду, показывал пасеку и крольчатник и всё время что-нибудь забывал показать.

А крыжовник ты мой видал? — вдруг начинал он тормошить меня за руку. Пошли! В-во крыжовник!

Жалко, что ты летом не приезжал... Три сорта. Из Калуги привёз.

Мы поворачивали назад, к крыжовнику, рядом смотрели диковинную чёрную малину; на ней, конечно, тоже не было ягод, и Володя вынужден был словами передавать мне её вкус: «как у ежевики». Отыгрывались мы на антоновке, на которой к тому же была привита и коричневка, и папировка, и два сорта груш.

Володя рассказывал о своих новых знакомствах с калужскими мичуринцами и тащил меня дальше — смотреть знаменитого селезня со всем его многочисленным потомством.

За огородом, на берегу сажалки, завернув головы под крылья, сидело стадо белых и пёстрых уток. Володя шёл к ним и картаво, смешно приговаривал:

— Уй, хлопотун, хлоп-потун, селезяка хлоп-потун!

Селезни вставали, опасливо топчась на месте и поглядывая, как бы не попасться в руки, а Володя садился около них на корточки с дымящей папиросой и передразнивал зеленоголового, забавно выкатывая слова:

— Вот чертяка-то здоровый, вот здоровило-то!

Селезни вопросительно вытягивали шеи, Володя хохотал над ними, потом дурашливо пугаясь «здоровилы», кричал ему:

— Уй, Елдырин! Надень-ка, брат, на меня пальто, чтой-то ветром подуло, знобит.

— Вот, а мы думаем: кого на утиную ферму поставить? — раздался сзади нас голос Ивана Дмитриевича.

Пахомов спускался к нам, сунув руки в карманы и весело оглядывая утиное стадо.

— Выгодная штука, вы знаете! — он подал руку мне и Володе. — Вот думаю сагитировать Володю взяться за это дело в широком масштабе.

— Вы ж говорили — за сад, — смущённо напомнил Володя.

— А если и за то и за другое? Можно сочетать такие вещи? — И как будто освобождая парня от непродуманного ответа, повернулся ко мне. — Носов сейчас приедет. Хотите с ним видеться?

—С Носовым? Конечно!

Алексей Алексеевич Носов был первым секретарём райкома партии. Я знал его давно. Он любил встречаться с газетчиками, да и наше-

му брату к нему интересно ездить. У него всегда что-нибудь новое: то организует массовое изготовление бетонных плит для силосных сооружений — и этим занимаются у него всё, вплоть до работников милиции; то наляжет на строительство лагерей для свиней. Только напечатаешь статью о массовой заготовке веточного корма — у Носова уже новое: восстановление плотин, грандиозные воскресники по ремонту дорог и мостов.

Носов умеет поднимать людей, у него не задремлешь, не засидишься в кабинете.

Помню, однажды при мне он вызвал заведующего отделом пропаганды:

— Есть, слушай, Орехов, мысль... — Поставив кулак па кулак и опершись на это сооружение подбородком, он смотрел на толстого Орехова, как игривый лев на котёнка. — Надо кое на кого напустить «крокодила». Выдумать и напустить. Не понимаешь?

Орехов не понимал.

— Вот смотри сюда. — Он показал лист бумаги. — Тут я набросал макет передвижного «крокодила». Вот, пожалуйста... Разобрал? Крокодил, вилы, надпись: «Не уйду, пока не приведёте в порядок...» А дальше — мелом. Ясно? Так вот, надо изготовить таких штук пять. Понял? И вывешивай... Запиши — забудешь: на чайной... Видал, какая там грязь? Дальше — на Госбанке... Ну, в колхозах... Это мы ещё тут подумаем. Ясно?

Орехов вглядывался в набросок.

— Кто будет волынить, докладывай. Мы тут мозги выправим... Давай, действуй.

Придумывать и осуществлять — это его стихия, его радость и страсть. Дома он не просто читает журналы, а выбирает из них то, что может пригодиться: какой-нибудь пример, опыт, начинание, меткие пословицы, броские образные выражения. И жена и дочь — одна учительница, другая десятиклассница — тоже поставляют ему свои выборки из прочитанного. У него всё смешалось: не поймёшь, где работа, где отдых. Одно плохо: он частенько забывает, что другие тоже могут и должны думать, искать. Он диктует готовое. За это его называют в районе «диктатуристый мужик».

Встретившись в Покровке, мы ездили и ходили по колхозу втроём: Носов, Пахомов и я. Носов был настроен шутливо и всё время трунил над председателем колхоза: сосед обогнал Покровку по надоям.

— Слушай, Малахова, ну как же это вы с Пахомовым так оскандалились? — увидев на скотном дворе Нину и протягивая ей руку, заговорил он весело.

Девушка смутилась, но легко взяла себя в руки:

— Что ж, Алексей Алексеевич, бывает и на старуху проруха, — ответила она. Щёки и глаза её пылали. — Теперь мы их будем догонять. Так ещё и веселее соревноваться.

Мы пошли к телятнику. Там вторую неделю работала Егоровна. Ей отобрали в особую группу племенных тёлочек и поручили выращивать из них высокопродуктивных коров. Егоровна была очень довольна.

В двух словах я рассказал Носову о её возвращении, и мы вошли в телятник.

Егоровна вымыла в тёплой воде ведро и держала его кверху дном над шайкой, ожидая, когда отечёт всё начисто.

Она была в сером рабочем халате, натянутом поверх суконной жакетки, в валенках с галошами и в тёмном подшальнике, махры которого рассыпались у неё по груди и по плечам.

Мы поздоровались с нею хором. Она ответила сдержанно, однако мне было заметно: рада такому нашествию.

— Ну, как тут у вас? — заговорил с нею Носов, как с давней знакомой.

— Налаживаемся помаленьку. — Она глянула в смеющиеся глаза Носова и тоже улыбнулась широко и доверчиво. — Теперь чего ж не работать — и кормокухня есть, и тёплая вода — хоть залейся, и электричество, а тут ещё автопоилки председатель обещает...

Постояли, поговорили о колхозе. Носов полушутя пожаловался на свою беспокойную работу — не успеваешь за всем следить и всё продумывать...

Алёна выслушала его и запечалилась, вздохнула.

— Что я вам скажу, начальники... — негромко заговорила она, укоризненно качнув с боку на бок головой,— И правда, тяжело вам. Потому — привыкли вы за всех думать. И вот наш Иван Митрич, — она спокойно указала на Пахомова, — он очень хороший. Я про него слова худого сказать не могу. С ним и в люди-то стали выходить. Но вот и он

всё сам. Да разве один в этаком хозяйстве всё обхватишь? А вы нас больше заставляйте мозгами
шевелить, а то люди-то уж отвыкли в общие дела вникать: ладно, мол, пусть начальство думает, а наше дело маленькое, — что прикажут...

Носов стоял, обхватив пятернёй челюсти, и тихо качал головой, не поднимая глаз.

— А ведь человек не может на всём готовом, на поводу ходить, он мыслить должен, — негромко продолжала Алёна. — А так он изведётся — в ничто произойдёт. Пра-аво. Люди теперь пошли мыслистые, грамотные. Что ж, ай они в государственном деле сообразить не смогут, как надо? Вы только руководите. Вот был у нас председатель — век его не забуду — Пузырьков Борис Василич. Соберёт нас, бывало: «Ну-ка, думай, народ, как нам дальше быть». Дак люди-то на глазах менялись — откуда у них что бралось!..

Она вытерла щепоткой свои чистые губы и закончила, оправдываясь:

— Может, я и не так что сказала, вы не примите в обиду, я от чистого сердца говорю.

Носов молча взял руку Егоровны, крепко и благодарно пожал её, подставил ладонь под локоть, и так они пошли вдвоём к выходу. Мы направились за ними.

Над селом стоял яркий день золотой осени.

г. Калуга,
1956 г.

ЧЕЛОВЕК НА ПОСТУ

1.

Попыхивая вкусным дымом домашней махорки, Петрович, худощавый старик в чёрном полусуконном пиджаке с отвисшими краями карманов и в валенках с галошами, направляется на фермы. Ему время заступать на дежурство. Как и всегда, перед этим он забежал к Марии Кузьминичне (она — агроном и секретарь парторганизации), взял пачку свежих газет, чтобы на всю ночь хватило, вышел и остановился, сойдя с крыльца. Раздумчиво вынул изо рта самокрутку.

«А может, вернуться и сказать?»

Сумерки окрашивают улицу в мягкие голубовато-синие тона. На фоне тёмно-мышастого неба треугольники крыш всё резче выделяются своей крахмальной белизной. Чист и звонок вечерний воздух. Отчётливо слышно, как в конце улицы у колодца гремит цепь, скользя по ведру. На той стороне пропели полозьями санки: председатель вернулся из дальних бригад. А в клубе уже заливается гармонь, созывая молодёжь.

Петрович прищурил глаз, будто заставляя себя прислушаться к собственным мыслям. Бритое сухое лицо его с удлинённым носом и впавшими щёками расчерчивают морщины.

— Чудачество стариковское, — повторяет он про себя неизвестно откуда взявшиеся слова, и ему кажется, что даже гармонь в клубе подтверждает их справедливость. — Конечно, старик... И думать нечего, — решает он.

Мария Кузьминична, высокая, мудрая женщина с усталым лицом, долго наблюдает за ним через окно, пока он, бросив и снег окурок, не уходит по направлению к «своему городу».

Со стороны посмотреть — очень подвижной, иногда порывистый, даже бойкий. Но ведь ему уже давно шестой десяток. Все зубы растерял — два, не то три осталось («на развод» — поясняет он шутливо).

Однако никогда, пожалуй, Петрович не ощущал такой потребности во всё вмешиваться, обо всём беспокоиться, как теперь.

— Удивительный стал человек Петрович, — говорит Кузьминична вслух, обобщая свои наблюдения.

Приходил будто насчёт помощника. Норовил быть по-бойчее, доказывал:

— Два года работал, Кузьминична, — не заикался об этом. А теперь гляди: шутка! (Загнул и придавил один палец на левой руке; руки у него корявые, но вымыты старательно). Коров было двадцать восемь, сейчас их, считай, семьдесят. Свиней десяток имели (прихлопнул почему-то сразу три пальца), нынче их шестьдесят четыре взрослых... А вдруг случай какой! — Петрович развернул все пальцы и с протянутой рукой, казалось, ждал, что на это могут возразить. Не дождавшись, продолжал: — Тут и за девчатами побежать надо, а на кого фермы бросить?

Опять, загибая пальцы, перечислял, когда примерно следует ждать приплода от той, от другой коровы, от свиноматок. Мария Кузьминична знает его манеру. В случае чего — он никогда не пойдёт звать девчат. Разве уж — беда какая. А то сам, лучше любой доярки и свинарки, примет новорождённых, сделает, что надо, а утром, раскланиваясь и улыбаясь, начнёт поздравлять Анну или Стешу «с прибылью», сохранённой в полном здравии и благополучии. Однако теперь ему действительно становится трудно, и Мария Кузьминична дала слово, что помощника назначат завтра же.

— Только побоевее кого, — оживился Петрович. — И скажи правлению: дело, мол, так подсказывает, а не потому, что трудности...

Потом попросил газет. С осени брал по одной, а теперь ему на ночь и двух не хватает — берёт три. Нахмурившись, стал рассказывать о Корее.

— Что делают, Кузьминична, лютуют хуже Гитлера. Дети живые под трупами... А?.. Что орудуют! Читаешь — волосы шевелятся.

Разволновался, зашмыгал залёгшим носом, постоял у двери.

—Ну ладно, — сказал глухо. — В другой раз... — и вышел.

Мария Кузьминична как будто хорошо изучила его. Она свободно представляет себе даже то, что он делает сейчас на фермах. Подходит туда степенно, по-хозяйски, оглядывая «свой город».

Фермы в самом деле напоминают городок. Большие тёплые помещения тянутся рядами. Ночью тут Петрович вроде коменданта. Пройдёт с фонарём по всем площадям, переулкам, посмотрит, спокойно ли здешнему населению, не забрёл ли сюда какой незваный гость, и направляется в свой «штаб».

У входа в «кабинет» Василия Петровича, где вместо письменного стола стоит кормозапарник с разными приборами, его ждёт, скорее всего, свинарка.

— Ну, как тут? — почти басом спрашивает «комендант».

— Всё слава богу, — нараспев докладывает та. — Только попросить хотела... Василий Петрович, уж ты, пожалуйста, лишний разок наведайся к поросятам. Стирка у меня нынче...

Петрович понимает: это она насчёт того, чтобы ночью он подпустил поросят к матери. Молодая матка неаккуратна с ними, и их приходится после кормления отсаживать в корзину. Петрович всегда рад повозиться с малышами. Проворные, потешные, они доставляют старику истинное удовольствие. Он и хохочет, и разговаривает с ними, и почёсывает их мягкие полные животики. Но сейчас ему есть расчёт поторговаться со свинаркой, и он отвечает не сразу.

— Н-да, — говорит, наконец, но опять басом. — Свинья у тебя строгая, пёс её дери...

И хотя эта фраза не означает, что он отказывается, свинарка решает: дело худо — надо упрашивать.

— Уважь, Василий Петрович, а?

Этого вполне достаточно. Петрович тихонько смеётся, молодецки подмигивает, сдвигая шапку на лоб, соглашается:

—Ладно, пусть твоя душа не волнуется: всё сделаю... Только...

О дальнейшем свинарка уже догадывается. Но на всякий случай спрашивает с преувеличенным любопытством:

— Что, Петрович?

Она знает, что в последнее время Петрович стал ходить на каждое заседание правления. Придёт тихонько, попросит разрешения присутствовать, присядет где-нибудь в уголке на корточках (любит на корточках сидеть вместе со стариками) и слушает, что решают. Ему очень важно, чтобы все вопросы ставились правильно и чтобы слов было поменьше, а дела побольше. Однажды на заседании долго не могли решить вопрос о кормозапарнике. Некому было печь под него сложить — печник заболел.

—Да ведь там схема должна быть, — вмешался тогда Петрович.

— Схема-то есть, да мастера нет, — озабоченно сказал председатель.

— А есть схема, так и разговаривать не о чем: по схеме и я любую печку сложу.

Клал он её под руководством председателя колхоза. Аккуратная получилась печь.

Сейчас с кормозапарником свинаркам просто благодать. И самому Петровичу радостно глядеть, какое облегчение получилось!

— Обязательно мне завтра на заседании надо побыть, — говорит теперь уже он просительным тоном. — И вдруг задержаться придётся. Ты тогда побудешь тут полчасика за меня?

— А отчего ж! — охотно соглашается свинарка.

—Ну, то-то. А то ведь председатель, знаешь... скажет: ишь!..

— Нет, нет, побуду.

Всё-таки, видимо, для верности Петрович добавляет, сокрушённо качая головой:

— Пёс её дери, строгая у тебя свинья...

Забот у Петровича множество: там отвязались телята, тут корова неловко легла, лошадь невесело смотрит, понурила голову. Всё надо поправить, уладить, выяснить. А тут ещё — эта строгая свинья...

О себе он рассказывает Марии Кузьминичне всё: и как воевал солдатом сапёрного батальона, и каким был

в детстве, и почему терпеть не может скряг и себялюбцев. Соседом у его отца был пчеловод — мужик очень хитрый и замкнутый. На пасеку он выходил всегда тайком, озираясь: не подсматривает ли кто-нибудь. Пуще глаза берёг он секрет пчеловодства. Заметив в соседнем огороде парнишку Ваську, нарочно крикнул ему:

— Ступай скорее, тебя мать ищет.

Мать объяснила как-то, почему он врёт, а на другой день стала искать сына и не нашла. Заявился он поздно вечером, когда уже скотину пригнали, — голодный, лицо и руки в волдырях. Мать взяла было хворостину:

— Ты где пропадал?

Но сын ответил спокойно:

— Следил.

Перед вечером, притаившись в крапиве, он наблюдал сквозь изгородь, как сварливый сосед обходится с пчёлами. Очень хотелось узнать соседские секреты.

Давно это было. Петрович учился потом на курсах, стал колхозным пчеловодом. И полюбилось ему каждый год в дни жатвы проходить вечерами по улице, останавливаться против каждого крыльца и объявлять колхозникам тихо, задушевно:

— Скоро начну вас медком угощать...

Однако порою старик стал озадачивать даже Кузьминичну. Как-то осенью в дождливый день коммунисты собрались на политзанятия. Собеседование было в разгаре, когда в дверь кто-то потихоньку постучался. Слушатели примолкли, переглянулись и ответили хором:

— Войдите.

На пороге появился Петрович, весь мокрый от дождя.

— Дверями ошибся, Василий Петрович! — весело заметил кто-то.

Но старик серьёзно переспросил: — Нельзя? Тогда извините...

Кружковцы опять переглянулись. Было ясно, что человек пришёл как раз туда, куда ему надо. Подвинулись, освободили ему место. Мария Кузьминична пригласила:

— Пожалуйста, Василий Петрович, почему нельзя, прошу садиться...

После этого он каждый понедельник приходит па занятия, усаживается на своё место и молча слушает.

Хотя в кружке скоро привыкли к его молчаливому присутствию, для многих всё-таки оставалось непонятным, что происходит с Петровичем.

Не каждый мог догадаться, о чём думает старый солдат долгими зимними ночами.

2.

Ночь. Чуть слышно шипит пламя в фонаре, на печи кормозапарника.

Растревоженный, раскрасневшийся, в очках, Петрович с шумом перевёртывает газетный лист. Пальцы его дрожат, глаза беспокойно бегают по строчкам, шапка повёрнута ухом против лба. И кажется ему: видит он чёрные лохмотья дыма, заволакивающего небо, вдыхает запах гари, как было там, у Днепра. Голыми закопчёнными скалами торчат огрызки зданий. Улица завалена растрёпанными крышами. Седая корейская женщина с распухшим от слёз лицом стоит, бессильно опустив плечи, среди трупов малышей...

Петрович передёргивает плечами. Будто морозной пылью осыпало колени, руки... Перед глазами возникают дымящиеся развалины украинских хат, разбитых, захламлённых станций, некстати цветущие улицы пустого, безлюдного Изюма...

Нет, нельзя допустить мысль, что это когда-нибудь снова повторится.

Тихонько шипит в фонаре огонь. Уродливая тень от старика с газетой замирает на противоположной стене.

Петрович притих. Снова глаза бегут по строчкам. Он будто прислушивается к голосу маленькой мужественной кореянки. Почему так радует его этот голос? И почему он так ясно видит эту женщину, всю в белой шёлковой одежде? Её слушает огромный зал в Варшаве. Она говорит смело, как победительница:

— Никогда не остынет в сердцах корейцев священная ненависть к американским захватчикам... Пусть слышат все!..

Петрович часто замигал глазами. В горле у него вдруг стало как-то тесно.

Если бы он мог подойти к этой женщине и пожать ей руку! Сколько добрых, ободряющих слов сказал бы он

ей! Но почему же люди, которые там видят и слышат её, не сделают так?

И вдруг лицо Петровича осветилось улыбкой, потом губы передёрнулись, он попробовал что-то проглотить, но не смог; строчки расплылись, и на газету часто-часто закапали слёзы: люди встали! Они устремились к трибуне, где стояла Пак Ден Ай. Женщины со слезами на глазах обнимают её, делегаты, подняв её высоко над головами, бережно несут в президиум.

Дети всех народов земли, люди, друзья! Как благодарен вам старый русский человек Василий Аксёнов за то, что вы — настоящие люди, за то, что у вас чистые и мужественные сердца!

Да, он тоже плачет, и ему трудно объяснить — отчего. Той женщины он никогда не видел и не знает близко её народа. И кто она ему? Но разве это важно, кто она — китаянка, англичанка или француженка.

Есть много беззащитных. И ведь никто никогда не думал даже словом вступаться за них! Не было силы такой надёжной и бескорыстной...

Разогнувшись, Петрович встал, подвернул фонарь. «Есть теперь такая сила, — размышлял он. — И не маленькая: скажет слово — задумаешься...»

Вышел на улицу, хлопнув разбухшей дверью. Холод охватил его разгорячённое лицо. Укутанная снежными подушками, деревня спала. Небо тихо перемигивалось ясными лучистыми звёздами. Петрович чувствовал себя сейчас великаном, шаг его был широк и свободен. Бесконечная качающаяся тень легко шагала по снегу сбоку него. Вскинув голову, Петрович остановился, обвёл глазами «городок», поля, на которых осенью зеленели буйные всходы, подумал:

— И сила эта множится по-сказочному...

Вдруг вспомнил: когда же сказать Кузьминичне? Что ж я всё вроде как в стороне, будто с малым сознанием человек? Утром пойду. Так прямо и спрошу:

— Скажи, Кузьминична, ты за меня могла бы... поручиться? Или я уже того... устарел, не гожусь? Но ты на годы не смотри. Что будет поручено — всё исполню, пусть и трудно другой раз придётся, не отступлюсь. Только в отдельности от Партии в такое время мне быть нельзя.

Звёзды тихо перемигивались то голубыми, то оранжевыми огоньками, будто приветствуя человека с фонарём, охраняющего покой на земле.

Колхоз имени Жданова
Медынского района, 1951 г.

КУДА «КРИВАЯ» ВЫВЕЗЛА

Лёша спускался с горки к правлению, и вдруг ноги его замедлили шаг, а сердце охватил неприятный холодок. Через клади навстречу ему шли, разговаривая, секретарь райкома партии и председатель колхоза. Властно шагая по стёжке, секретарь, подойдя, подался плечом вперёд и протянул комсомольскому вожаку свою маленькую сильную руку. Он даже не торопился спрашивать ни о чём — видно, был уверен в успехе и, кажется, уже благодарил за труд смелой и доброй улыбкой.

От этого Лёша совсем смешался и покраснел.

Утро было знойное, у изгородей душно пахло нагретой крапивой, над селом устанавливалась томная полуденная тишина. Лёша облизал пересохшие губы и подумал: «Сейчас был бы на целине — никаких этих мучений не знал бы!»

Да, теперь всё, что произошло, казалось ему большой неприятностью.

Дня три назад они ходили по фермам — председатель, парторг, секретарь райкома и он. Секретарь называл его по имени, останавливался всё время около него, не замечая, что Лёша от этого чувствовал себя неловко. Он не был избалован вниманием и не всегда умел находчиво отвечать на него, потому оно порой было ему тягостным. Но Лёше хотелось чем-нибудь доказать, что он не меньше других болеет за хозяйство и что с ним вполне можно решать серьёзные вопросы.

Секретарь останавливался и начинал стучать пальцем по плечу председателя.

— Нет, мы ещё не научились делать доходы! Сколько у нас добра под ногами пропадает!

Это он «пилил» за снижение удоев: в колхозе к середине июля снизились удои молока. Коровы в полдень и ночью стояли без корма — так уж повелось.

Лёше нравилось, как он убеждал:

— Смотрите, сколько травы кругом. Хороший хозяин всю её переработал бы в молоко, в конечном счёте, в деньги. Кому косить? Надо убедить доярок, заинтересовать их. Как в «Пути к коммунизму» сделали?

Убедить поручалось Лёше.

После высказываний секретаря это дело казалось парню ясным и простым: трава — молоко — деньги — оплата труда... Всякий поймёт! Тут доярок долго и агитировать нечего.

И он сказал... И надо же было так по-мальчишески ляпнуть:

— В своей-то бригаде я сагитирую, чего там! Как миленьких!

Секретарь пожал ему руку:

— Ну и добро! Подготовься хорошенько: цифры, расчёты...

И вот теперь Лёша стоял перед ним потный, виноватый и объяснял:

— Эта Портничиха... Ещё передовой дояркой считается! А попробуй, поговори с ней...

— Подожди, подожди, — забеспокоился секретарь,— пойдём-ка на травку сядем.

Они сели около машины под деревом.

— Давай по порядку.

И Лёша рассказал всё.

Когда он в полдень пришёл на ферму второй бригады, Вера Михайловна Портникова расставляла на траве бидоны. Она была явно не в духе. Но он отчасти знал её своенравную замкнутую натуру: Портничиха никогда не была особенно общительной. Решил действовать понастойчивее. Дело надо было начинать с неё: у Портниковой самая лучшая группа коров, на подкормку она отзовётся богаче всех — нагляднее будет другим дояркам.

Лёша поздоровался и повёл разговор. Начал он, как ему казалось, удачно. Он спросил:

— Как вы думаете, можем мы сейчас получать от МТФ доходов больше, чем получаем?

Она не ответила. Даже не повернулась к нему. Но он тут же сам стал развивать эту мысль, сказал, что за последние две недели только по её группе надои снизились на тридцать два литра в день — почти на одну треть, перевёл это в рубли.

— Вот мы сколько теряем.

Вера Михайловна и бровью не повела. Сердито поджав губы, она протирала подойник и, казалось, совсем не замечала, что кто-то есть рядом.

«Не в духе, — опять констатировал про себя Лёша, — но на ус мотает, неправда».

Однако дальше ему говорить с ней становилось всё затруднительнее. Он начинал чувствовать себя мальчишкой перед ней и оттого сбивался на неуверенный тон. Выходило уже неубедительно. Он повторил, как важно именно теперь организовать обильную подкормку коров — надо перерабатывать траву в молоко, — как поднимутся от этого доходы, но фразы получались вялые.

— Так вот... — поспешил он перейти к прямому вопросу, — как вы посмотрите, если это дело вам начать?

Вера Михайловна круто повернулась, громыхнула бидонами, и Лёша даже не расслышал, что она ответила. Смуглое лицо её с мелкими чертами обострилось и стало диковатым, правый глаз, должно быть, чем-то наколотый и подёрнувшийся красными жилками, сердито покосился.

— Сто рук у меня, что ль! — услышал он, наконец.

Он уходил ни с чем. Эту женщину с налившимся кровью глазом он, кажется, возненавидел на всю жизнь. Не сто рук! Понятно, трудно. Встань с рассветом, беги доить коров. Подоишь — сдай молоко и торопись на покос. Оттуда — опять на дойку, потом, выходит, надо за травой ехать, а там сено скопнить на ночь и опять — к коровам... Ну и что? Пора такая — сейчас всем отдыхать некогда. А у неё малышей нету, в доме есть кому управляться. Просто избаловали её и всё. Передовая, передовая! Ничего в ней нет передового!

— Подожди, Лёша, а ты хорошо знаешь, кто она? Чем она живёт?

Папироса у секретаря погасла. Лёша собирался с мыслями. Не о деньгах и не о еде, конечно, речь. Чем она живёт? И зачем? Что она видит в жизни?

Лёша стал рассказывать, что знал.

Секретарь дослушал, заговорил глухо:

— Нам с тобой, Лёша, трудно понять вдовью печаль. А эта женщина ходит и думает: «ещё не жила и уже жизнь прошла. Ждать больше нечего, кроме старости». Это, Лёша, штука невесёлая. Будешь не в духе. Какие радости ей остались? Работа. А вот давай подумаем: приносит ли радость ей труд? Плохо ли, хорошо ли, но она передовая доярка в колхозе. А даём ли мы ей испытать трудовое удовлетворение? Нет, правда? Мы об этом даже сказать людям забываем, разве только в стенгазете фамилию назовём, ну, в отчётном докладе — в год раз... А главное — не видела она большого проку от своего хвалёного труда: колхоз всё равно был захудалый. Сейчас совершается поворот. И мы зовём её на подвиг, туда, где она найдёт настоящую радость жизни. А она-то ведь думает, что ты пришёл только за тем, чтобы навязать ей лишнюю работу, что её судьба тебе совершенно безразлична.

— Правда, — выдохнул Лёша.

— А ты покажи ей, что на этот раз она ошибается. Сумеешь?

Лёша опять помолчал, крутя пропеллером стебелёк травы. Потом сказал:

— Тогда я с Тони начну.

— Посоветуйтесь тут, — заключил секретарь, вставая и протягивая на прощанье руку.

Жаль, что у Тони Гладиновой не было такого задора и хватки такой горячей, чтобы кого-то увлечь и повести за собой. Но Лёше это было уже не важно. Дорог пример. Остальное он берёт на себя. Он даже готов косить вместе с Тоней траву после работы. И что, если эта незаметная девушка опередит по надоям Веру Михайловну? Вот тогда Портничиха увидит! Тогда она вспомнит, как сопела и косилась, когда к ней приходил с добрым делом человек.

Тоня встретила Лёшу тихим, послушным взглядом. С детства какая-то смирная, она бегала по тырлу за коровами, привязывала их и из-за этих быстрых движений становилась непохожей на себя. Лёша перепрыгнул через изгородь, стал помогать ей, а когда она села доить, заговорил о деле. Ему нравилось Тонино умение слушать.

— Понимаешь, если только на один литр прибавят и то?.. — негромко рассказывал он, искоса поглядывая в ту сторону, где доила Вера Михайловна. — В день прибавится 11 литров от одной от твоей группы. Это шестнадцать рублей с хвостиком в переводе на деньги, так?

Тоня молча кивала головой.

— В месяц это почти 500 рублей. А мы сделаем, что твоему примеру последуют все доярки колхоза. Тогда от 96 коров прибавится центнер молока в день — это 150 рублей, четыре с половиной тысячи рублей в месяц. Понимаешь?

Вера Михайловна, даже глядя в эту сторону, делала вид, что никого не замечает, только презрительно поджимала губы.

— Отсюда и заработки доярок будут выше, а может, и премии... — продолжал Лёша.

— А где косить? — без дальних слов спросила Тоня.

Лёша посмотрел на неё как на спасительницу, заулыбался, но почему-то тут же смахнул улыбку и сказал поспешно:

— Вон, около овса. Я с председателем говорил.

На следующий день он ещё издали стал высматривать, где стоит тот возок с травой, который Тоня должна была привезти на обед коровам. Но возка не было. Тони тоже нигде не оказалось. Он побежал к ней домой, но увидел, что дверь заперта на палку. Где ж она? Вот-вот придут коровы. Вера Михайловна опять подожмёт губы, только на этот раз с усмешечкой,—мол, «понапрасну, мальчик, ходишь, понапрасну ножки бьёшь!»

И вдруг он увидел что-то непонятное: к тырлу приближалась копна. Её нёс на себе, согнувшись, человек. Около угла копна травы свалилась на землю, и Тоня, красная, потная, с прилипшими ко лбу и щёкам волосами, разогнулась и шумно вздохнула.

— Тонечка! — бросился к ней Лёша. — Тоня, зачем ты так? А на повозке?

Тоня молча утирала лицо и чуть не плакала.

— Да нешто их захватишь? — утёршись, ответила она. В её голосе не было злости — только обида. — Стогуют ведь. Повозки захватывают чуть свет.

— Трудяга ты, труженица! — растроганно повторял Лёша и даже не заметил сначала, как пронеслась в пяти шагах Вера Михайловна с подойником и не поздоровалась. «Ну-ка! — закричала она корове. — Но-гу» — и быстро заработала руками.

— Ладно, ты это раздавай и дой, — распоряжался Лёша, — а я остальное принесу.

Через два дня во всех бригадах агитаторы развешивали на видных местах большие листы с крупными разноцветными буквами. Плакаты начинались словами: «Молния. Ценный почин доярки Антонины Гладиновой». Люди собирались, читали — кто про себя, кто вслух. «Ввела подкормку... В первый день удой повысился в среднем на 360 граммов... На следующий день ещё почти на 700... Удои продолжают расти». Внизу выделялись слова: «Доярки, организуем обильную подкормку коров! Увеличим доходы от МТФ!»

Во второй бригаде этот плакат вывесили около скотного на стене амбара. Вера Михайловна сразу увидела его. Пробежала глазами по крупным буквам, вспыхнула, поджала губы и зашагала дальше.

К концу дня на красном щитке появилось что-то новое. Лист толстой бумаги с крупными клетками. На нём, надломившись, тянулись слева направо две кривые линии — синяя и красная. Синяя обозначала средний дневной удой по группе Портниковой, красная — по группе Гладиновой. Синяя начиналась высоко, где-то у цифры 8, и день ото дня спрыгивала, как по неровным ступенькам, всё ниже и ниже. Красная, наоборот, начиналась внизу, но за следующий день приподнялась, а потом ещё круче пошла вверх, явно стремясь столкнуться с синей. Ещё через день она вплотную подошла к ней, а спустя ещё сутки пересекла её, остановившись на уровне восьмёрки.

Лёша торжествовал. «Молнии» сверкали по всему колхозу, рассказывая, как слабая группа обогнала самую сильную.

Об этом говорили и на покосе, и у колодцев, пошёл слух, что правление собирается премировать Тоню.

Лёша заметил, что в настроении Веры Михайловны начало что-то меняться.

— Надо подумать, Вера Михайловна, — подойдя к ней, сказал он тоном старшего, — как быть дальше. Смотрите, что получается. — Он жестом пригласил её к графику, где уже стояла Тоня.

—Чего там смотреть! — огрызнулась Вера Михайловна, однако без прежней злости и всё-таки пошла. Стала поодаль, поджав тонкие губы, готовая то ли терпеть всё, что будет, то ли усмехаться в душе.

Рассказ агитатора о том, что показали кривые линии, она вытерпела. Только в конце выпалила с ехидцей:

— Чуд-дно!

Ушла и села на брёвна. Сидела долго, кусая травинку. Потом вернулась к графику. Стала рассматривать ломаные линии с таким видом, будто хотела найти в них какую-нибудь фальшь. Лёша в стороне о чём-то разговаривал с телятницами.

— Чуд-дно! — передёрнув плечами, повторила Вера Михайловна, ни к кому персонально не обращаясь. — Две охапки травы принесла — и она уже передовичка!

Никто ей не отозвался. Она снова отправилась на брёвна и села. Щёки её пылали, мысли перебивали одна другую:

«Пусть не две охапки, пусть двадцать! А сколько Портникова этих охапок за все годы перетаскала? И ничего. А теперь Портниковой дали отставку. Новая передовичка объявилась — помоложе нашли. Это справедливость? Что она, скажите, такого особенного сделала? Травы накосила. Подумаешь! И тут уж и «молнии» и громы — на всю вселенную превознесли! Даже премию посулили».

Через минуту Вера Михайловна опять топталась у колодца, где висел график на щитке.

— Ведь это кабы отвели участки, где косить,— по-прежнему ни к кому не обращаясь, громко высказалась она. — А то где её, подкормку-то брать?

Она повернулась к Лёше:

— Ну, это ещё ладно. А возить на чём? Все телеги на заготовке заняты. Ведь у нас порядочки — кто захватил, гот и поехал. Три телеги на всю бригаду! Чего правленцы-то думают?

На другой день они с Тоней вместе стоговали сено. Тоня дивилась: своенравная Вера Михайловна, обычно делавшая всё молчком, целое утро заговаривала с ней и была такая добрая и внимательная к людям, что и не верилось: она ли это?

С работы они ехали вдвоём. В низинке, близ дороги, сочно зеленела буйная отава. Вера Михайловна тронула Тоню за плечо и сказала, любуясь:

— Вот, Тонь, трава-то коровам хорошая... Накосить приехать!

Тоня растерялась.

— Ты тоже думаешь подкармливать?

— Надумаешь! — и весело и в то же время грубовато отозвалась Вера Михайловна. — Прилип этот агитатор, как... — И тут же, видно, сообразив, что кривить душой больше не к чему, размякла и улыбнулась, как ребёнок после долгих слёз:

— Кривая-то моя ишь куда закривила.

Переглянувшись, обе они рассмеялись чистым, доверчивым смехом.

С этого дня Тоня не узнавала её. Вера Михайловна будто сбросила с себя какой-то груз. За все дела она бралась весело, всюду успевала и ходила легко, не чувствуя усталости. Она первой шла запрягать лошадь, чтобы ехать за травой, бойко поторапливала Тоню, а мимо графика проходила с загадочной улыбкой на губах.

Синяя кривая запрыгала вверх. Скоро она подошла близко к красной и, наконец, обе эти линии столкнулись в одной точке вверху. Как две руки, схватившиеся в борьбе, они держались в таком положении, словно были не в силах одолеть одна другую. Потом красная линия Тони, оттолкнувшись от синей и подойдя к черте нового дня, осталась на прежнем уровне. А синяя поднялась выше

Агитаторы вывешивали новые «молнии». Вера Михайловна, возвращаясь с обеда, ещё издали заметила свою фамилию на большом пёстром листе, прибитом на амбаре, но долго разглядывать постеснялась — быстро и весело зашагала дальше.

Настроение у неё было чудесное!

Износковский район

ВОЛКОВЫ ИЗ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Ночевать председатель колхоза повёл меня куда-то на край деревни. После яркого света, к которому в правлении привыкли глаза, сырая сентябрьская ночь казалась бездонной тьмой. В такую темень край деревни представлялся мне чуть ли не краем белого света: никуда не хотелось идти.

— Там вам спокойно будет, — слышал я из темноты умиротворяющий басок председателя. Он, видно, старался окольным путём объяснить, отчего не приглашает к себе. — Ребятишек у них сейчас нету — двое со стариком... Поаккуратней, тут вот брёвна... С детворой-то беспокойно. У меня вот у самого...

— Кто они, эти старики-то?

— А колхозники, здешние. Волковы... Я их предупредил.

Он провёл меня мимо сруба, который стоял у самой стёжки, подумал и сказал:

— Да тоже и у них пережитие трудное было. — И, сразу вспомнив что-то, он заговорил громче: — Да! Вам с ними потолковать... — ох, это интересно вам будет. Они расскажут... Они ведь в войну большие дела делали. Вот вы расспросите у них. Интере-есно... Сейчас оно, конечно, забывается всё — пятый год после войны-то...

— Сейчас-то они кем же?

— Сама она — звеньевая у нас по льну, а Фёдор на ферме, сторожит.

Избы тянулись шеренгой. Кое-где из темноты выступали светлые дома, уже обшитые золотистым тёсом-вагонкой. Опять начинала жить по-своему развеянная в прах деревня.

«Возрождается» — мелькнуло в сознании слово, ставшее повсюду ходким. И за ним пришёл на память мрачный разговор, который утром возник в вагоне. Сначала говорили о слепых певцах, которые ходят из вагона в вагон с маленькими пугливыми поводырями. Потом — о каком-то проводнике, который помог спекулянтам провезти груз, о взяточниках; кто-то сказал, что люди вообще измельчали от такой войны.

— Не тот стал русский человек! — глухо проговорил мужчина с бледным, вдумчивым, но раздражительным лицом, очевидно, контуженный. — Вот где самое тяжёлое последствие войны... Подкосили русского человека!..

В избе, к которой мы подошли, уютно горел огонь. В сенцах пахло усолившимися огурцами с укропом. Председатель сразу нашёл ручку двери, из избы пахнуло теплом и свежим хлебом. Около печки, у самовара, топталась женщина. В меру полная, статная, лет пятидесяти восьми, она, опустив полные руки, кивнула нам и, не долго разглядывая — кто и что, принялась освобождать крючок на стене.

— Раздевайтесь, вешайте вот сюда. — Хозяйка безошибочно наступала на неприбитые половицы, объясняя мимоходом: «Да вот всё никак не наладимся после войны».

Половицы были сделаны не из пилёных, а из колотых осиновых досок, с зачищенными задирами и желобками, которые, видно, выскабливались во время уборки кончиком ножа. На стенах, ещё ничем не оклеенных, висели рамки с набором фотографий. Пространство между печкой и задней стеной отделялось не перегородкой, а ситцевой занавесью с крупными красными цветами, похожими на тюльпаны.

Председатель развёл здоровой рукой — вторая у него была перебита на фронте — и сказал:

— Ну что ж, устраивайтесь, отдыхайте, — и попрощался.

— На завтра-то как решили, — спросила вдогонку хозяйка, снова опустив руки, — возить тресту-то?

— Лошади наморёны, — обернулся с порога председатель. — Послезавтра придётся.

Есть люди, которые кажутся как будто и приветливыми, но гость у них всегда чувствует себя связанным. Эта хозяйка, наоборот, не стара-

лась показывать заботы о приезжем, была приветлива без усилия и слащавости. Она ходила своей грузноватой походкой то к самовару, то к столу с чашками и полотенцем и говорила о житейских делах негромко, по-домашнему, как с сыном. В её манере рассказывать, спокойно опустив полные руки, в привычке точно подбирать слова при разговоре можно было угадать человека, сознательно отошедшего от старых деревенских привычек. Лицо у неё было тоже в меру полное, но подвижное, с весёлыми складками около глаз, с чистой линией рта и мягким, грустным взглядом. Я смотрел на её черты и думал, что это, пожалуй, самое типичное лицо доброй и мудрой матери. Едва ли она могла накричать на ребёнка или разозлиться — слишком легко и ясно понимали всё её спокойные и вдумчивые глаза.

Имя её мне запомнилось сразу: Акулина Ивановна.

Перекинув через плечо полотенце, она перетирала, как это заведено, посуду перед чаепитием. Рассказывала о деревне, о своей юности, о том, как девушкой жила в Москве в прислугах.

— Делегаткой меня избирали — тогда делегатки были, после революции. Ну, а образование-то что ж у меня? — два класса. — Густой женский голос её легко принимал мягкие интонации. — Комиссар говорит: «Давай, Акулина, учись, уж очень грамотные люди-то нам нужны». Как раз, помню, курсы медицинских сестёр открылись. Взялись меня учить. — Весёлые складки на её лице потеплели, собрались в скромно-задумчивую улыбку, голос понизился до застенчивого шёпота: — Латынь мне хорошо давалась. Подружки, бывало, скажут: «врачом будешь». Ну, врачом — не врачом, а сестрой стала работать. Басманновская наша больница была. Раненые у нас лечились — гражданская война ведь шла-то. Я и сейчас сануполномоченная в колхозе — больше тридцати лет уж.

Грузноватой походкой она пошла, продула самовар и опять занялась посудой.

Учиться я любила, — снова тихонько похвалилась она, видно, сознавая, что такая похвальба ей простительна. — Когда война-то кончилась, Фёдор демобилизовался — в деревню меня забрал. И тут я потом, в колхозе, опять учиться стала. Соберёт нас, бывало, агроном всех звеньевых и объясняет, как живут растения, как почва. Такой был хороший учитель!.. Вот забыла я его фамилию.

Сядем мы вокруг стола, записываем. «Вы, говорит, запишите, как насекомых отбивать ото льна». И диктует... Ах ты, горе, забыла фамилию-то!

Мне показалось, что теперь походка и движения её становились лёгкими, она уже не стеснялась выглядеть не по годам задорной.

— О-о, звеноводство — это лихое дело! — густой голос её налился сочным весельем. Видно, любимая это была у неё тема — Акулина Ивановна уже не сгоняла свою мягкую улыбку с лица. — А тут ещё премии давали — ну и совсем! Удобрения, бывало, сами, звеньевые, возим, сами селитру толчём — никому не доверяли. Золу и в банях выгребем — друг перед дружкой. А председатель — Губанов был — комичный такой: всё подтрунивает, подзадоривает. К тем пойдёт — меня хвалит, ко мне вернётся — про них рассказывает. — Она помолчала, вздохнув, крепко пожмурила глаза, будто выжимая из них утомление и давнюю печаль, потом строго подняла брови и заговорила мужским шёпотом, врастяжку: — Практи-иче-ский был, культу-урный председатель — Губанов Тимофей Петрович... Погиб он... Как, бывало, скажет, — так и сделает. Обожали его все,— просто, знаете, дороже всех был. В колхозе хороший председатель — это большое счастье...

Самовар уже фыркал и хлюпал. Акулина Ивановна сняла с него трубу, приглушила крышкой и, обдув золу, принесла на стол.

Я ждал, что она теперь заговорит о войне, о своих больших делах, но, очевидно, такие люди о самом главном рассказывают не сразу. Акулина Ивановна взглянула на часы-ходики:

— Теперь уж вот-вот хозяин заявится чай пить. — И снова вернулась к «лихому делу — звеноводству».

— Звеньевая тут ещё была у нас — Авдотья Канарейкина. Вот соревнование было! Глянет: мы покормили лошадей, едем. Кричит своим: «Девки, Акулина уже поехала!» Глядим, бегут её девки. Наше звено сделает, что надо, — собирается домой, а Авдотья своим: «Девки, мы погодим, давайте ещё чуточку вот тут...» Взойдёт лён, посмотришь на полоски: батюшки, у Авдотьи какая полоска-то хорошая. Бежишь свои сравнивать... Знаете, когда единолично жили, — так не было. Глядишь, бывало, Матрёна, соседка, — раз-раз — уже вспахала, раз-раз — уже посеяла, уже чай пьёт сидит. А пойдёшь смотреть — поцарапана земля сверху, пласты не разработаны — что ж там вырастет? Летом бежит

Матрёна: «Акулинушка, до чего ж лён-то у тебя хорош! А у меня не вышел, окаянный его заешь!» И пойдёт пушить свой лён... У нас вон соседи сейчас такие — колхоз «Новая жизнь» — вот рядом, деревня Булатово. Всё у них как-то кувырком. А потом говорят: «А-а, вам хорошо, вы вон поскольку получаете. Кабы у нас так рожалось». А я говорю: «Милый ты мой человек, да нешто так родится? Вы ж, как та Матрёна: вам лишь бы поскорей...»

В сенцах загремел кто-то щеколдой.

— Ну вот и хозяин идёт, — обернулась к двери Акулина Ивановна.

Вошёл худой медлительный старик в армяке, пропахший табаком-самосадом. Он неловко поздоровался, топорща ершистые усы, и стал раздеваться, всё время покашливая. Я догадался, что дядя Фёдор нездоров.

— Война, будь она проклята! — объяснил он, сев на скамейку и откашлявшись над коленями.

Акулина Ивановна добавила устало:

— Только что без оружия были, а такой же самый фронт.

История, которую она стала вспоминать, казалась очень простой, будничной. Она выглядела тем более обыденно, что Акулина Ивановна рассказывала её, не отвлекаясь от своих домашних дел, — разливая чай, убирая посуду, гремя ухватами и вёдрами.

...В тот вечер, когда немецкие танки и грузовики прошли на Мятлевскую и когда уже совсем стемнело вокруг, в дверь к Волковым кто-то постучался. Окна были завешены, двери кругом заперты, ребята говорили шёпотом. Услышав стук, все молча переглянулись. Стук повторился громче. Акулина Ивановна приоткрыла дверь.

— Кто там?

— Я.— Голос звучал сдержанно, глуховато.

— А кто ты?

— Я русский, откройте.

Накинув шаль, Акулина Ивановна вышла в сенцы. Па крыльце стояли шестеро. Крайний был страшен: вместо головы грязная копна из бинтов.

— Немцы есть?

— Прошли. Нету.

— Пустите обогреться...

Какое уж тут «обогреться»! Раненые. Она вспомнила, что днём прошёл слух — где-то недалеко немцы разбомбили санитарный поезд. Поняла, что оттуда эти люди. Все в бинтах, бинты напитались кровью и ссохлись.

В избу раненые внесли прелый запах больницы.

Акулина Ивановна, машинально засучивая рукава, глянула на мужа:

— Что ж, давайте воду греть. Принеси соломки — постелить.

Пятнадцатилетний Шурик давно соскочил с печки и в упор разглядывал бойцов.

— Раны у них загноились, запах уж пошёл... — Акулина Ивановна рассказывала озабоченно, будто всё это происходило сейчас. — У двоих уж очень нехорошо было: у того, который в голову был ранен — Миша его звали, и у другого — нерусский он, узбек, — грудь у него была разбита... Письма потом писал... Нагрели мы воды, обмыла я им раны — йод у меня, спасибо, был, марли немножко — сануполномоченной-то была. Дали им молока, хлеба. К полночи управились, положили их в другой комнате, прикрыли дверь. Стою я так-то вот, слышим: как застучит кто-то в дверь громко так, сердито. Ну, думаю, всё: немцы! Мороз по мне прошёл. Шурика — на печку, — выхожу. Думаю — будь что будет: если немцы — стану в двери и буду стоять. Скажу: «Люди у меня раненые — не пущу; что хотите — делайте. Каждый нынче свою родину защищает, хоть и тебе доведись. А если твой закон стрелять — на, стреляй». — Она глянула так же решительно и бесстрашно, как, видимо, глядела тогда: ни столкнуть её, ни убить — какая-то нечеловеческая сила воплотилась в ней... Ну, вышла я: «Кто там?» «Откройте». Голос грубый, злой такой. Слышу — наши! Ругаются, кто-то их там не пустил в дом. Ну, знаете, разные люди бывают. Открыла. Ещё восемь человек — тоже раненые. «Не надо, говорят, нам ни питья, ни еды, ты обогрей нас только». Тут от души-то отлегло — я рада не знаю как: наши! Этих перебинтовала, напоила горячим молоком, положила к тем.

Утром Шурик сбегал туда вон, где санитарный поезд-то разбомбили, бинтов принёс, ваты, йоду, разных таблеток. Натаскал он этого всего. Тут уж у меня чуть не настоящий госпиталь развернулся. Люди идут и идут — кто из окружения, кто раненый. Измученные, голодные, с бо-

родами. Здоровые-то побудут дня два-три, кто неделю, отдохнут, поправятся маленько. Соберёт их Шурик — гут ведь они у многих были, не у одних у нас — и ведёт их лесами на Бородино. Вёрст шестьдесят, наверно...

— Да, так-то, — подтвердил дядя Фёдор. — Шестьдесят пять. I

— Ну, вот он тоже водил. А Шурик-то дома уж почти и не был. Одних проводит, вернётся — других ведёт. Он уж с ними самостоятельно. Там командиры, полковники, писатель один был. Ему-то они скоро открывались. Научили его гранаты заряжать, полковник подарил ему пистолет «ТТ».

— Но как же немцы? Неужели не заходили?

— Они как прошли, после этого к нам в деревню почти и не заглядывали. Ну, как увидим или слух пройдёт: едут! — сейчас — кого на печку, кого в горнице под пол. Зайдёт солдат, спросит, чего надо, а подозревать-то уж они ничего не могли. Раз только страшно сделалось. Забегает один: «Матка, эссен». И — к печке. Открыла я ему заслонку, достала щи — с ливером щи были. Поглядел: «Ляв!» Ну, думаю, и на здоровье. А тут Шурик сидел за столом. Немец-то увидал его, как крикнет: «Русь зольдат» — шапку с Шурика — р-раз, и за пистолет, да запутался, не расстегнёт никак. Шурик вскочил — а он, правда, под машинку был подстрижен, как красноармеец — щёки побелели. Отец бросился, Шурика — за руку, а там наколото было «1926».

— Какой он солдат — мальчишка, двадцать шестого года!

Посмотрел немец, погрозился и вышел на улицу — в ту комнату и не глянул.

С этого раза Шурик даже будто повзрослел. Послушаешь, бывало, всё у него обдумано, всё спланировано. А уж под конец совсем другой стал. Тут обыск готовился. Он положил пистолет в боковой карман: «Я им живой не дамся». Партизан-одиночка!

Их, таких-то много было — «стихийные партизаны» их звали. Одного сейчас все помнят — Вася тут такой был. Лет ему семнадцать, наверно, было. По деревням ходил. По лесам, по деревням... То на обоз нападёт на немецкий, то двух-трёх солдат ихних убьёт где-нибудь. Этот с автоматом ходил. С нашим Шуриком они дружили

до войны, с гармошкой к нам приходили. Тут недалеко у этого Васи невеста была. Но получилось так, что невеста с фашистом спуталась — галоши тот ей подарил и подшальник. Встретил её потом Вася: «Идём». Идут как ни в чём не бывало, разговаривают. «Ты расстреливать меня ведёшь?» — «Идём в штаб»,— он ей отвечает. Она всё рассказывала, он слушал. Видит: сбоку дороги листовка валяется. «Подними поди». Поглядела она: «Убьёшь?» — «Подними, говорю, почитать надо, что там твой любезный рассказывает». Нагнулась она за листовкой. Подняла. Повернулась, а он в неё из пистолета. Так она с этой листовкой и осталась.

А вот когда немцы отступать начали, тут-то мы натерпелись!..

В доме у нас четверо раненых осталось — всего-то их по колхозу было восемнадцать человек, но те ходячие. Сохранили мы их, а как наши пришли, они сразу — в часть.

Слышим: фронт идёт, надо что-то делать. А в лесу-то у нас, тут-то вот, недалеко, окопы были — два. Они и сейчас целы. Собралось нас человек тридцать...

— Тридцать четыре со стариками, — поправил дядя Федя, — винтовок было только тринадцать. Думаем, найдут наш госпиталь — тогда нам крышка. Что ж зря-то пропадать? Лучше бой принять.

— Да... А уж он тяжёлыми стал бить по деревне,— продолжала Акулина Ивановна. — Я ж говорю, только без оружия многие были, а такой же самый фронт. Как прослышим: немцы сюда идут, сейчас — на скотный, оттуда тропой в лес, в окопы. Раненые, конечно, с нами. Ждём. Наготове. А как немцы, бывало, уйдут — на скотном флаг вывешивался. Выглянем — флаг висит — идём в деревню... Ну, когда уж подошёл фронт — я со своими — в погреб. Восемь человек нас там было. А погреб низкий, стоять там нельзя и высунуться нельзя — над нами всё гудит, стрельба, снаряды рвутся — ходуном всё ходит. Крышкой от стола накроемся и сидим. В случае заглянет кто — не увидит людей-то. Одиннадцать суток в этой могиле мы крючились. Пить нечего — снежку нагребём тихонько сверху в банку... Вылезли, пухлые все, чёрные — из земли люди взятые. Глянули — ничего нету. Одни печки стоят на улице.

Акулина Ивановна управилась, вытерла уголки губ кончиком головного платка и присела к нам. Мы стали рассматривать фотографии. С одной из них смотрели острые глаза паренька с комсомольским значком.

— Шурик... — упавшим голосом сказал Акулина Ивановна. Дядя Фёдор строго глянул на неё:

— Ну, ладно, ладно, при людях-то...

Я понял, что Шурик погиб, и у матери это была вечная незаживающая рана.

Утром Акулина Ивановна опять возвращалась к истории госпиталя. Вспомнила, как гнали по улице пленных, впряжённых вместе с лошадьми в повозки; как раздавали им женщины сухари, припасённые на самый чёрный день, а конвойный бил их палкой и кричал...

Постепенно Акулина Ивановна снова переходила к делам живой жизни, которые возбуждали в ней и радость и раздумья.

— Этот колхоз мы два раза на ноги ставили. Пришли мы сюда в двадцать девятом году. Из Ворсобина отселились. Тут лес был, как тайга. Начали раскорчёвывать, строиться. По пять гектаров за весну раскорчёвывали. Деревня появилась. Назвали её по-новому: «Красная звезда», а там вон, подальше — «Красное знамя» — тоже нашего колхоза деревня. А колхоз назвали по фамилии лётчика Чкалова. Народ у нас дружный, дело ходко пошло. Три пруда сделали, рыбу развели. Лошади были — одна в одну.

Акулина Ивановна отвлеклась чем-то, может быть, опять подумала о недружной булатовской артели, которая всегда печалила её. Минуту спустя продолжила:

Нет, мне порядки в нашем колхозе нравятся. У нас всё на индивидуальной сдельщине: и лён, и покос... За каждым отдельный участок закрепляется. Знаете, какая завистная работа потом идёт? Хоть на косьбе возьмите — до солнца!.. Тут уж всяк на виду. И ленивый тянется — его всегда сзади увидишь. А самолюбие-то у каждого есть. Тут уж лень — на задний план. Дадут тебе гектар лугу — скосить, высушить, убрать, куда скажут, — четырнадцать трудодней. Комиссия глянет: «Сгреби почище, просуши получше». А то — надо тебе четырнадцать трудодней — получи десять и знай другой раз, как надо убирать.

А прополка — по разрядам, Опять же комиссия пройдёт, определит, какая засорённость: у кого первый разряд, у кого второй, у кого третий. Кому семь трудодней за прополку, а другому за такую же площадь двадцать один. Нет, в нашем колхозе организация работы мне нравится. Если бы во всех колхозах так было — совсем бы другое дело!

Помогать? Боже упаси. Никто вас к своему участку не подпустит. Раз только мы третьему звену помогали. Лён у них поспел, а погода, видим, разлаживается, дожди настигают — ну, пришлось им поступиться. Вы лён-то наш видали?.. Мой участок как раз крайний. Признаться, побаивалась я этого участка. Но разработку мы ему дали хорошую — лён любит хорошую разработку, грубую почву он не любит.

Акулина Ивановна гремела ухватами, сковородками и объясняла всё так, будто от неё ждали совета насчёт улучшения руководства колхозами.

— Самое главное — это руководитель. Руководитель и учёт. Если нет аккуратного учёта, тут любой самый честный человек может свихнуться. Тогда всё кувырком пойдёт. Это ж артель! А когда учёт налажен, контроль идёт своим чередом — тут уж никто не балуйся.

Один у нас проворовался. Не в колхозе, а на стороне — на лесозаготовках он был. Приходит к нам докладная, председатель сразу — собрание. Поставили голубчика к сцене перед всеми, перед народом. — «Ну-ка, рассказывай». Как начали мы его чистить, как начали школить! «Красную звезду» позоришь? Такой урок был, что другой и подумать побоится какой-нибудь поступок совершить нехороший. Надо, чтобы всё делалось на виду, как в хорошей семье.

Она рассказывала, продолжая греметь ухватами, а мне опять припоминался мрачный разговор в вагоне.

Нет, что-то непохоже, чтобы измельчал русский человек!

Износковский район,
1949 г.

РАДОСТЬ

Семье с ним стало беспокойно. Кажется, минут десять назад был тут, рылся в книгах, и вот, пожалуйста: пропал. Восьмой десяток человеку — и чем старше, тем неугомоннее. Возьмёт на Угру уедет. Шофёры его все знают: «Вам куда, Митрофан Максимович? Садитесь в кабинку!». Полчаса — и он на реке.

Спиннинг, удочки — всё это, конечно, увлекательно и ценно: хороший отдых ему необходим. И пусть уж лучше весь день проводит на рыбалке, чем пропадает с лекциями в деревнях: тяжело это теперь ему.

Но он ведь, если увлечётся ловлей,— ни жары, ни сырости не замечает. Тоже опасно: не юноша в осьмнадцать лет.

Обычно-то Митрофан Максимович предупреждает, куда собирается, — слишком он заботлив, чтобы надолго оставить семью в неведении и причинить лишнее беспокойство жене. Однако во всех случаях у Алевтины Васильевны тревог меньше не становится. Тем более, что исчезает он после странных сборов: берёт с собой даже географическую карту мира. Это на рыбалку-то! Куда уж он по этой карте забредёт и когда вернётся?..

Прогремит на улице грузовик — Алевтина Васильевна всё бросает, прислушивается: «Он? Не случилось ли чего-нибудь?».

Когда помоложе был, не так волновалась: «Ничего, придёт!» Теперь силы у него не те, сердце слабое...

Полюбить бы ему теперь какое-нибудь спокойное занятие! Заслуженный учитель, старый человек — копался

бы себе в саду с Алевтиной Васильевной! Тоже полезный отдых для человека умственного труда.

Нет, она не то чтобы садовница, но покопаться с растениями, говорит, люблю. Хорошо! Свой садик, цветы... Она и цитрусовые растит, и столько у неё рассказов о них... Это ведь дивные деревца! Только, знаете, какое разочарование? Мандарин принёс плоды, а они оказались безвкусными!

Говоря по правде, дух непоседливой туристки живёт и в ней. Ведь каждое лето, бывало, путешествовали вдвоём — целых четверть века! Четыреста километров на лошадях по Алтаю. Вслед за первыми строителями пробирались в Хибиногорск, на Днепрострой. И сейчас перед глазами Бухара, Самарканд, Чарджоу — добела раскалённое небо, живительный чай в пиалах. Порой звучат в памяти тревожно-гортанные песни горцев Кавказа, вспоминается ключевая прохлада сибирских рек. Постоишь сейчас перед картой, пройдёшь взглядом на юг, на восток, всмотришься в места знаменитых строек — от души немножко отлегнет, как будто опять повидала всё своими глазами.

Теперь-то уж «крыльями машем, а улететь не можем». Возраст бы ещё не помешал, домик свой построили — не пускает. Вот посоветовать надо молодым людям: хотите до старости волю знать — не стройте своих домов!

Вначале Алевтина Васильевна так и понимала: это туристские страсти донимают Митрофана Максимовича. Хоть на маленьких путешествиях, да отыгрывается! Но потом подумала: а зачем же он всякий раз карту-то с собой берёт? Или, может, ловит рыбу на Угре, а по карте Ангарой любуется? Тоже душу отводит старый турист!

Оказывается, тут совсем другая подкладка. И открылось это совершенно неожиданно.

Однажды приезжает он возбуждённый, говорливый, удочки под одним локтем, карта — под другим. Ростом он и так богатырь, а тут ещё плечи расправились, на щёках румянец. И рассказывает горячо, азартно, будто с ним приключилась очень забавная история: переплывал через речку.

Видите ль, только у него начался клёв, на том берегу колхозники собрались сено сушить. Человек семьдесят. Сели — ждут, когда роса сойдёт. Ну какая уж тут рыба! Забегал, засуетился:

— А х ты, батюшки! Сколько народу. Каждый ли день соберёшь такую аудиторию!

Смотал удочки,— на этот раз в буквальном смысле,— разделся, бельё и карту — на голову и... в воду! «Быстро, сажёнками, — говорит, — перемахнул на тот берег, оделся, колхозники окружили, помогают карту развешивать. Расскажи им и о международных делах, и о новых уборочных машинах, и где их строят...

Вот, не угодно ли порадоваться: отдых! «Перемахнул! Сажёнками!» Да ещё утром, по холоду. Ох, уж эта юность в семьдесят с лишним лет!

А Митрофан Максимович — он ведь всегда снисходителен в подобных случаях — стоит, как большой ребёнок, высокий, лысый, слушает и улыбается своей доброй радушной улыбкой.

— Да, да, сажёнками... Славно! Когда-то в Вязьме первый пловец был. Да. Перемахнул — что ж делать-то? Не смог... Люди!

Однако Алевтина Васильевна расстроилась. И ему было жаль её: опять она из-за него переживает. Но разве он может иначе? Есть чувство, которое возвращает юность. Не будешь же с ним бороться. И потом, сколько он помнит, ему всегда хотелось такой бурной жизни... Нет, пожалуй, не всё можно рассказывать женщинам! А карту... карту лучше всего уносить как-нибудь незаметно...

2.

Лет шестьдесят назад работал в Вяземском депо высокий, завидного телосложения молодой конторщик Митрофан Евменов. Уважительный был к простому рабочему, душевный — по всякому делу люди шли к нему. После получек делились горем, которое переходило в глухое озлобление:

— Замучили штрафами. С мясом отдирают, подлецы!

Иногда спрашивали:

—А есть ли такой закон-то — штрафовать?

Однажды юноша видел, как уволили старика. Бедняга вышел за ворота, как подбитый. Куда он теперь пойдёт?..

Рабочие подозвали к себе молодого конторщика:

Кто дал право увольнять за старость?

Они уже часто спрашивали о таких вещах, но ещё больше вопросов возникало у самого Митрофана Евменова. В самом деле: почему хозяевам даны все права, а рабочим — ничего?

Он вспомнил о книгах. Перечитал всё, что мог найти, но о том, что волновало его, в тех книжках не говорилось.

Однако поиски не были совершенно бесплодными. Он узнал и полюбил людей, которые умели мыслить и готовили себя к трудной борьбе, хотя порою сами казались лишь светлыми призраками, близкими и неуловимыми, как лунная фантазия.

И Митрофан Евменов тоже готовил себя, ещё ясно не представляя, что его ждёт. Тренировал и тело и волю, тренировал неотступно, месяцами. Стал отличным гимнастом и великолепным пловцом. И продолжал искать нужные книги. Их не было. А вопросы всё усложнялись.

Прекрасен мир в четвёртом сне Веры Павловны. Но как до него дойти вот этим людям, перед которыми становятся покорными огромные чудовища паровозов, как больной перед врачом, и которых нелепая жизнь заставляет самих покоряться несправедливости?

Наконец в руки Евменову попал документ, который отвечал, казалось, на все вопросы сразу. Это были стихи, но стихи неслыханной силы. Юноша дрожал от волнения, украдкой читая их. Дерзкая мысль осенила его: «Это должны знать все! Каждый рабочий депо!»

В конторке стоял гектограф. Митрофан Евменов едва дождался, когда все уйдут. И вот он, наконец, один. Станок и бумага. Он печатал. Он был в восторге. На все вопросы — такой простой, такой мудрый и решительный ответ;

Отречёмся от старого мира,

Отряхнём его прах с наших ног...

Мороз подирал по коже. Да, этот старый мир должен быть отвергнут. В глазах рабочих Евменов давно читал эту мысль. И другую читал: «Ненавистен нам царский чертог!».

Он печатал, забыв обо всём. Ему слышался только голос тех девятисот рабочих, которые завтра будут повторять призывные слова листовки. Они узнают в ней свои думы, свои ещё не осознанные устремления, и многое им станет яснее...

Наутро эти листки бумаги разошлись по рукам. Но Евменов никак не ожидал, что одним из его читателей окажется такая, не входившая в его расчёты, личность, как начальник жандармерии. Тот проявил необычайный интерес к служащим депо, умевшим обращаться с гектографом. И с депо пришлось проститься...

Тогда-то и пригодилась физическая закалка.

Оказалось, что нужно жить, не имея средств к существованию. Но теперь он уже не мог просто жить. Ему надо быть учителем, народным учителем.

Значит, надо учиться. Пусть дома, если нельзя там, где учатся другие. Потом сдать в Москве экстерном, получить назначение в школу. И вот тогда он опять среди людей — нужный им человек.

Как много можно сделать!.. Но сначала надо несколько лет голодать. Надо находить деньги на книги. Надо всё выдержать!

Были ночи, когда темнело в глазах, когда лицо приобретало землистый цвет, когда ноги коченели от холода.

Наконец, эта чёрная ночь позади. Экзамены сданы! Ещё шаг — и в руках будет назначение.

...Сопя над столом, смоленский губернатор перелистал его документы, и вдруг шея и уши генерала налились кровью. «Митрофан Евменов?.. Бунтарь?..»

Документы жандармерии напомнили губернатору не одну историю с листовками. Было и похлеще. Он помнил ту страшную тревогу, которая охватывала всех верноподданных за судьбу царя и отечества в 1905 году. Простой люд вышел из повиновения. В Москве разгорался бунт. Был приказ немедленно отправить туда Семёновский полк. Под него подали в Вязьме вагоны.

В депо стачечный комитет организовал забастовку. Солдаты подошли к депо, вломились в ворота. Толпа рабочих встретила их спокойным молчанием. Серые шинели смешались, кто-то пододвинул рослому темноволосому парню табуретку:

— Становись, говори.

Евменов поднялся на табурет, высокий, бледный, в отрёпанном пальто, снял шапку.

— Слушайте, товарищи! — крикнул он громко, и молодой смелый голос его погасил неспокойный говор в солдатской толпе. — Вот вы, военные, идёте громить московских рабочих.

А разве они враги вам? Давай подумаем, кто ты есть, солдат. Кто тебе враг? Посмотри, вернёшься домой, — что у тебя там? Худая крыша да голодные детишки. Помнишь стишок о солдатах, которых посылали на гибель, чтобы завоевать подарок в честь дня рождения царя:

Именинный пирог и с начинкой людской
Брат державному брату подносит.
А на родине ветер и воет и рвёт—
Он мужицкую хату разносит...

— А ты идёшь богачам помогать, идёшь бить таких же обездоленных тружеников, как и сам...

Выступал ещё кто-то. Студенты говорили так жарко, так заманчиво... Евменову думалось, что он сказал плохо, что рабочие, которые подталкивали его, ждали лучшего. Но в толпе солдат уже видны были простые человеческие улыбки.

Кто-то сжимал Евменову локоть и кричал на ухо:

— Смотри, смотри! Они не слушают команды офицеров. Отказываются ехать! Видишь?..

...Ту неприятность губернатор забыть не мог. И он понял, каким Евменов хочет стать учителем. Промычал с наигранной ленью, показывая, что ему не стоит никаких усилий сделать мученьем любую жизнь:

— Пусть учит, где угодно, но... не в пределах вверенной мне губернии...

3.

Мы познакомились с Митрофаном Максимовичем в Полотняном Заводе.

В этом большом посёлке, кажется, нет ни одного человека, который не знал бы близко старого учителя. Каждый мог о нём многое рассказать.

Этому поневоле удивляешься: ведь в посёлке тысячи жителей. И перестаёшь удивляться, только вспомнив о том, что в каждом доме живут его ученики. Первым питомцам Митрофана Максимовича теперь за пятьдесят, уже их внуки сидят перед ним за партами.

Но не меньше о нём могут рассказать и в деревнях, расположенных и за два и за двадцать километров от Полотняного Завода, — в

Устье, в Старках, в Жилетове, Уткине, Редькине, Карамышеве, Поповичах, в Белях и за Угрой — в Руднянском сельсовете, куда он ездил с лекциями.

Как-то вечером под пасху его подвезли на лошади к парому. Надо было переплыть на ту сторону Угры — в Матове люди собрались на лекцию о происхождении пасхи. На реке начался ледоход. Оттуда доносилось злобное сопение льдин, мчавшихся по быстрине. Паромщик, неказистый, проворный мужичок в шубе, оторопело посмотрел на учителя и заговорил виновато:

— Дак как же мы? Лёд идёт. Вода большая. Кабы это днём, а то ночь...

— Голубчик! — тронул его учитель за локоть. — Там народ ждёт! Надо! Да ты не бойся, целы будем!

Потоптался паромщик, вскинул плечами:

— Да я не об себе — об вас... Ну что ж, надо — была не была!

Причалив к тому берегу, проговорил, сдерживая дрожь:

— Отчаянный вы человек, Митрофан Максимович... А был бы бог, он нипочём не допустил бы вас туда с безбожным-то делом!..

...Все о нём знали. Но найти его, тем не менее, оказалось трудно.

— Когда он не на уроках, — с расстановкой объяснила тихая, гладко причёсанная женщина, что-то писавшая в учительской, — его лучше не искать.

Она подошла к расписанию, поводила пальцем по клеткам и сказала опять с расстановкой:

— Подождите, у него «окно». Он мог отлучиться не больше как на два урока.

Через час Митрофан Максимович отыскался.

В учительскую лысиной вперёд вошёл высокий, крепкий, сутуловатый человек, в тёмном выгоревшем на солнце кителе, верхние пуговицы которого были по-курортному расстёгнуты. Вошёл он быстро, весело, с двумя связками новых книг и сразу заставил забыть, что ему восьмой десяток. Оказывается, он успел уже побывать в Кондрове — это километров двадцать туда и обратно. Как же: в книжный магазин пришла свежая литература! О таких новостях ему всегда бывает известно раньше всех.

Люди, которые много ходили и ездили по свету, сразу узнают друг друга. Мы уселись на диван и заговорили

о любимых местах, о том, как великолепен Эльбрус в час восхода солнца, как красиво летом священное море бурят — Байкал и какие удивительные сооружения вырастают у нас на великих и малых реках.

Он говорил, подавшись вперёд и высоко подняв седые брови, оттеснив ими вверх загоревшие морщинки лба. Говорил увлечённо, запыхиваясь при подборе ярких определений — истинный географ не может рассказывать равнодушно.

— Этого нельзя не любить, — повторял он, задумчиво улыбаясь, — только видеть и знать надо...

«Какая благодарная у него должность, — думалось мне. — Он пробуждает в людях любовь и радость».

— А то вот встретили мы в Крыму одного учителя из Бологого. — Теперь у Митрофана Максимовича смеялись только глаза. — Говорит: «Боже мой, 25 лет учил ребят географии, а сам первый раз кипарис вижу, Днепрогэс только на фотографии видал!..»

О такой прекрасной стране разве мыслимо знать только понаслышке, да ещё географу?!

— А мы — каждое лето... — в голосе его звучат нотки мечтания. — Кончается, бывало, учебный год, укладываем вещишки и — в путь-дорогу!

Возвращались они с Алевтиной Васильевной помолодевшие, пропечённые жарким солнцем, и веяло от них счастливым ощущением необъятности и богатства родных просторов, суровым дыханием новостроек.

В классах ребята ждали Митрофана Максимовича, всё начисто убрав с парт, будто приготовившись к захватывающему путешествию.

Никогда им не забыть, как шумит и скрежещет бурная, словно от ярости побелевшая Катунь. По берегам ослизлые камни — ходи осторожно: поскользнёшься — закружит и расшибёт река. Пробовали лес сплавлять —[1] всё в щепки! Какая колоссальная энергия! Больше, чем у всех рек Скандинавии, вместе взятых. Правда, те короткие. А сколько рек мы уже заставили работать на людей! Вот они, дивные каскады Закавказья, вот он, укрощённый Днепр, вот плещется в сухой степи новое море, созданное человеческими руками!

Кто лучше учителя может читать ребячьи мысли по глазам? Страшна Катунь. Зрачки у ребят расширяются, глаза темнеют. Но где-то глубоко в них рождается дерзкое торжество. Да, Катунь тоже отдаст нам свою огромную энергию. И детские глаза загораются завистью: какие счастливцы те, кто будет участвовать в покорении этой дикой силы!

А как рождаются новые города! Это можно слушать целый день. Только кажется, что слишком скоро дают звонок. Ребятам досадно, они кричат: «Ещё немножечко, Митрофан Максимович, расскажите ещё!»

Хибиногорск... Глухое, далёкое Заполярье. Был вагончик вместо вокзала, стояли деревянные бараки — вот **и** весь Хибиногорск. Тьма трудностей и неудобств. Это 1930 год. Но что стало всего через несколько лет. Город! 75 тысяч жителей. Каменные дома, просторные школы. Новый вокзал. Электрические поезда ходят. Вдоль улиц ёлочки посажены. Воля и труд человека дивные дива творят!

С урока он шёл, как всегда, наклонив вперёд голову **и** тихо улыбаясь про себя. На моё замечание о разбуженной любви отозвался, снова приподняв бровями морщины:

— Надо, чтобы эта любовь будила способности и чувство хозяина страны. Чтобы ребят тянуло туда, где ещё много надо сделать...

Дома я перебрал у него стопки самых неожиданных журналов и опять удивлялся. Зачем ему, например, «Физкультура и спорт»?

Но вот пришёл вечер. На площадке перед школой хлопал волейбольный мяч. Играли, кто умел. Большинство только смотрело. Потом один по одному ребята стали переходить к брёвнам, где сидел среди учеников Митрофан Максимович.

Далеко был слышен его неторопливый мягкий голос. Видно, кто-то с иронией отозвался о своих спортивных способностях, и это задело старого гимнаста.

Настойчивость и тренировка — и можно достигнуть чего угодно! Есть примеры просто поразительные. Знаменитый пловец — вот можно прочитать в журнале — вернулся с фронта с повреждёнными руками, а теперь вытренировал себя, как Мересьев, и снова ставит рекорды... Мы говорим, что человек коммунистического общества — это в совершенстве развитый и умом и телом человек.

Это же прекрасно! И надо, значит, чтобы каждый из нас был физкультурником. Не нужно стесняться первых неудач, неловких движений — это всё забудется! Останется только сила и красота.

Через минуту он пересказывал уже какую-то книгу о физической культуре древних греков.

— Это были юноши с красивыми, будто отлитыми из бронзы, телами, — цитировал он на память. — Они были пьяны не от вина, а от избытка здоровья и сил...

Когда он умолк, я напомнил ему, что он собирался в кино. Не глядя на часы, он ответил тихо:

— Ничего, у меня ещё минут восемь в запасе.

— А знаете, — продолжал он, когда мы пошли, — и за восемь минут кое-что можно пробудить в сознании человека... Я не смогу охватить всё, что надо, не смогу передать людям всё, что хочется. Но возбудить интерес, дать толчок уму, чтобы человек потом сам интересовался, искал, — это можно. И во многих случаях это удаётся.

Я начинал понимать, почему он так по-стариковски упрямо и поучительски добросовестно стремится к большим аудиториям.

Утром должна была состояться его беседа с уткинскими колхозниками на лугах; он с вечера готовился к этой встрече и чувствовал себя легко и приподнято.

4.

Утро было удивительно чистое. В воздухе стоял аромат скошенного луга. По пригоркам восковыми разливами желтели хлеба.

Мы шли вдвоём по лугу туда, где колхозники растрясали сено. Это они попросили его вчера придти и рассказать перед жатвой о делах и богатствах страны, о её хлебе.

Митрофан Максимович выглядел сосредоточенным. Казалось, исчезла куда-то вчерашняя приподнятость и, кроме выражения заботы, на его лице ничего не было. Но вот он увидел людей, которые повернулись к нам, заметив его, прибавил шагу, и улыбка опять, как вчера, заиграла на его губах и в морщинках под глазами.

Он пришёл к ним, как в огромный класс, с картой, свёрнутой в трубку, с книгами под мышкой. Все спешат к нему, приветствуют, улыбаясь по-свойски, вытаскивают у него из-под локтей разноцветные журналы, карту, развешивают её на кусте.

Наконец, Митрофан Максимович обводит прутиком карту, говорит: «Смотрите, вот она, наша Родина», — и начинает свой увлекательный рассказ...

Как много у него накоплено всего, что надо передать людям! Он говорит без остановок, взволнованно переводя дыхание и раскрывая перед мысленным взором колхозниц самую большую, самую красивую и самую богатую страну в мире — Советский Союз. Словно хранитель несметных сокровищ, которому известен и безмерно дорог каждый закоулок народных кладовых и строек, он рассказывает о них всё, как говорил бы старший в семье, передавая неоценимое наследство младшим.

Женщины, одетые, как всегда на сенокосе, по-праздничному, в ярких косынках и цветных фартуках, глядят изумлёнными глазами на карту, будто она вдруг открыла им вековую тайну. Они слышат слова Ильича, который сказал, что мы покроем Россию сетью электрических проводов.

Он сказал это, когда на нашей земле грохотали пушки белополяков, когда русский мужик ходил в худой сермяге и растрёпанных лаптях, когда мешочники ехали на крышах вагонов. Ему не поверил тогда иностранец- писатель, который славился необычайной силой фантазии. Он назвал тогда Ильича кремлёвским фантазёром.

— Приезжайте через десять лет, мистер Уэллс, — ответил ему тогда Владимир Ильич.

И мистер Уэллс приехал. Ленина уже не было, но был красавец-Днепрогэс его имени, были другие мощные электростанции и заводы. Великая фантазия стала явью.

— Я поражён, — воскликнул тогда Уэллс. — В Европе нет подобного этому.

А если бы он приехал теперь!

Женщины переглядываются: вот бы...

В Закавказье на бурной Куре стоит теперь Мингечаурская ГЭС. Семьдесят метров высота плотины! Сухая безжизненная степь получила воду и превратилась в цветущую долину. А здесь, на Занге, вода будет падать с высоты целого километра, восемь электростанций заставит работать на своём пути и тоже оросит прежде бесплодные степи. Ангара — река. Дивная и могучая красавица! Велики ли её запасы энергии? Она десять Днепрогэсов может привести в движение.

О больших и малых стройках, об огромном труде народа старый учитель рассказывает словами человека, который всё видел сам и не мог не радоваться.

Сейчас по глазам и лицам людей он понимает, что каждый уголок этой большой земли, каждый труженик её становится им ближе и роднее. И он любит их, и рад им сказать:

— Вот как велико наше с вами хозяйство! И мы его развиваем своими руками, своим разумом под руководством партии, которую создал Ленин. Вы говорите: это нелёгкий труд. А правительство наше говорит: это труд героический! Я раньше думал: герои, Золотая Звезда — это только тем даётся, кто жизнью жертвовал. А смотрите вот Указ. Ваш труд приравнен к подвигу. И это ведь так и есть, это — подвиг.

Он глядит на колхозниц. Многие из них в это утро впервые поняли, что такое их работа — работа людей, которые кормят огромную армию тружеников своей земли.

И как-то не совсем обычно звучит их речь. Они сами заговорили о завтрашней жатве, заговорили как большие хозяева.

Застенчивая мечтательная девушка почему-то сказала:

— Сибиряки, наверно, больше всех любят свой край. Он такой красивый и богатый...

— Но вот возьмите — Ява! — вдруг повернувшись, воскликнул Митрофан Максимович. — Нигде нет такого скопления богатств, как там. И люди прекрасные, мужественные, трудолюбивые. А какая нищета! Какие это несчастные были люди. Богатство страны обернулось горем для её народа — столько хищников налетело!

Женщины вздохнули, стали снова смотреть на карту, где натруженными венами вздувались реки...

Митрофан Максимович идёт домой неторопливой походкой труженика, раздавшего людям свою грузную и радостную ношу. А завтра он снова будет рваться к ним с такой же ношей, потому что бесконечно много великого и прекрасного совершается вокруг и это наполняет душу такой радостью, которую хочется разделить со всеми, кто живёт рядом.

САДАМ ЦВЕСТИ!

Таня и сама не знает, отчего ей теперь всё время хочется быть с дедушкой Иваном Викторовичем. Немножко ей и раньше нравилось бывать с ним, когда она училась в пятом, в шестом классе. Но тогда он обращался с ней, как с ребёнком, а виделись они мало, только вечерами. Дедушка ходил на работу в райцентр. Он чуть ли не с самой гражданской войны работал в райкоме партии — заведовал там общими делами. Таня знала, что через него проходили вое важные бумаги, даже совершенно секретные. Поэтому и дедушка ей казался каким-то засекреченным, недоступным для разговора о самом интересном. Ей иногда приходило в голову, что вот он носит в себе разные государственные тайны, а с людьми, с Таней говорит совсем про другое и размышляет о чём-то далёком. Об этом, конечно, никому нельзя знать и интересоваться нельзя. Но Таню донимало любопытство: интересно, что у него на душе. Вечерами она подолгу разглядывала его.

Зимой старая изба остывала скоро, к вечеру от пола так и несло холодом. Иван Викторович брал лампу, очки, журнал с новым очерком Валентина Овечкина и лез к ребятам на печку. Там уютно становилось, светло. Тане тоже можно было читать свои книги, тем более, что при дедушке Петька никогда не кидался валенками.

Таня видела, что Овечкина дедушка любит, должно быть, больше всех писателей. Бывало, читает, читает, потом уставится на Таню поверх очков, — видно, захочется с кем-нибудь поделиться, — ну, так хоть с нею. Даже улыбнётся:

— Вот, скажи, а! Прямо как у нас сидел в райкоме и записывал...

Таня бывала у них в райкоме. В восьмой класс она ходила в город и после уроков забегала иногда за дедушкой, ждала его. Но ничего особенного, кроме самого дедушки, не замечала там.

На работе он был немножко не такой, как дома. Дома он всё делал без лишних слов, а сам думал про себя о чём-то. А там он сидел шутливый, словоохотливый и подвижной. Таня откроет тихонько дверь и думает: чей это сидит около телефона старичок? Чей-то аккуратненький. Седые волосы расчёсаны на боковой рядок, руки большие, а чистые. Потом скажет про- себя: «Наш дедушка». Бородка у него похожа на белую варежку, нос, как у Тани, картошечкой, на переносице — блестящие очки. Когда заходили какие-нибудь люди, морщинки у него становились весёлыми, будто солнышко пригревало ему лицо. Он каждому подавал руку, каждого называл по фамилии и непременно спрашивал:

— Что новенького читали?

У него там была книга, которую он любил всем показывать. И Тане показывал. Книга конторская, в ней только названия колхозов и колонки цифр: сколько посеяно, сколько надоено, сколько заготовлено. Дедушка хлопал по ней своей широкой ладонью, и опять у него всё улыбалось: глаза, усы, худые щёки.

— Потомкам, так ска-ать, сохранить! Интересно будет, а?

Голос у него звонкий, азартный, почти юношеский.

— Почитать, подумать, как у нас тут и что было...

Однажды он сказал это, и улыбка у него стала неустойчивой, а потом совсем будто впиталась в морщинки.

— А может, будет, так ска-ать, и... смешно? — Он заморгал, стащил очки за одну ножку. — Скажут: чудаки! Целый месяц сеяли!.. А?

Чуть присев, будто готовясь, подпрыгнуть с поднятым указательным пальцем, он обводил всех взглядом, ожидая. Седоусый рот его оставался приоткрытым.

— Весёлый будет сев! — встряхивал он наконец пальцем и садился в кресло. Продолжал уже задумчиво:-— К примеру, в понедельник утром пустят сеялки. Одни вдоль, другие поперёк. А во вторник уже, так ска-ать, шабаш — машины в гаражи поставят. И позвонят в райком: как, мол, там, нельзя ли подать команду насчёт дождичка?

Все заулыбались, стали переглядываться, а дедушка прищёлкнул языком, кивнул Тане:

— Вот как дела-то у вас будут делаться, уважаемые товарищи потомки!

Он занялся бумагами. Потом вздохнул с усмешкой:

— Никого не надо будет вызывать на бюро. Даже забудем, что это за штука «сырые настроения». А уборка?— вдруг опять вскидывал он голову. — Пусть хоть какая погода, два дня хороших выпадет — и на том, так ска-ать, спасибо, больше и не надо. Можете представить: стоит август, ясные дни, а в поле делать нечего до самого сентября, пока картошку копать.

— Тогда на целину съездим, — сказала Таня.

Дедушка будто не слышал. Убрал бумаги и потом долго смотрел на внучку. Глаза у него делались грустными. Он спросил простодушно:

— Доживём?

Таня кивнула:

— Конечно.

И он кивнул бородой:

— Пожалуй. Только б войны не было.

Молчал, молчал и заторопился:

— Вы обязательно доживёте. Вы понесёте, так ска-ать, нашу эстафету дальше...

Интересно с ним!

Ему никак не хотелось бросать работу. Но всё-таки каждый день пять километров туда и пять оттуда ему тяжело: стар стал. Осенью перешёл на пенсию.

Таня думала, что он теперь притихнет, а он, наоборот, такой стал непоседа! Его выбрали секретарём партийной колхозной организации, и у него везде стало полно работы: в правлении, в клубе, на стройках. Конечно, раньше он тоже не забывал про свой колхоз, всех тут тормошил, затевал, как говорила бабушка, разные затеи, а теперь и подавно!

Очень он ждал весны. С самого февраля ждал. Утром встанет, выглянет в окно, выйдет на крыльцо, стоит. Понюхает воздух, и не хочется ему в избу возвращаться.

Пойдёт по улице. Интересно на него смотреть, когда он по улице идёт. Увидит на стёжке хворостину или щепку какую, поднимет, пронесёт и кому-нибудь в хворост откинет: на улице должен быть порядок.

В аккуратном бобриковом пиджаке с хлястиком он выглядит в это время пареньком. Когда вернётся на крыльцо, смотрит за речку.

Таня знает, чего он туда смотрит, он сам ей говорил. Ни одной весны не ждал, говорит, так, как этой. Это самый, говорит, большой и самый красивый будет у нас праздник: первый раз зацветёт сад! Уже по-настоящему зацветёт — для плодоношения. Надо только уберечь, чтобы мороз не побил.

Сад в колхозе он сажал. Таня тогда ещё в третий класс ходила. Сажал, конечно, не один дедушка — все работали, и школьники помогали, а на деревне так почему-то говорят:

— Иван Викторыч сажал.

Про радиоузел тоже:

— Вот и радио Иван Викторыч провёл.

А проводил вовсе какой-то парень с петлицами, он из города сам.

Сначала садик небольшой был, вдоль большака,— восемьсот метров длина и сто метров ширина. А потом стал тридцать гектаров — весь южный склон занял, до самого леса.

И всё было бы с дедушкой хорошо, если бы не эта трещотка Любка, с которой Таня дружила; они все годы учились вместе.

Прилетела с девчонками на крыльцо:

— Что это вы там смотрите, Иван Викторыч?

Дедушка ласково шевельнул усами:

— Помните, как сад-то сажали? Вам, так ска-ать, наследство от старших...

— Фи, нам! — вильнула Любка. — Через год нас туг уже не будет, Иван Викторыч.

— А кому же? — у Ивана Викторовича кровь отхлынула от лица.

— В этой дыре жить? Стоило десять лет учиться! — С гурьбой девчат она пошла к Тане в избу.

О Любке в школе говорили, что она «заводится с пол-оборота». Особенно выводили её из себя призывы к подвигу, высказываемые в газетах или на собраниях. Она воспринимала их не иначе, как покушение на её личное счастье, которое представлялось ей то в виде роскошно одетой дамы, то в виде шаловливого котёнка с бантиком. И если

бы ей сейчас сказать, что она обидела Ивана Викторовича, Любка заморгала бы, ничего не понимая: «Что я ему такого сказала?».

Когда Таня вышла с девчатами на крыльцо и увидела дедушку, он стоял, будто окаменевший. Больно было видеть его худенькие плечи, чуть приподнятые, будто он приготовился принять удар по спине. Вся небольшая фигурка его в юношеском пиджаке с хлястиком выглядела оскорблённой и придавленной. Он неподвижно смотрел за речку. Таня остановилась. Ей жалко его стало, как маленького, захотелось сказать ему что-нибудь хорошее, ласковое, но он свободно повернулся к ним и сказал насмешливо:

— Значит, Люба от нашего наследства отказывается?

Таня догадалась, в чём, примерно, дело, и заговорила с явным желанием загладить неприятность:

— Да ну, что мы ещё понимаем — мелюзга!

Дедушка снисходительно улыбнулся, положил свои большие ладони Любке и Тане на головы:

— Ну посидите на солнышке. Никуда не спешите?

Таня обрадовалась лёгкому примирению:

— Правда, девочки, посидим. Солнышко!

Иван Викторович, шутливо шевеля усами, доставал папиросу. В вешнем воздухе грелся пресный запах тающего снега. Солнце припекало. Хотелось подставить лицо под его горячие лучи и сидеть с закрытыми глазами. Где-то под снегом тихонько позванивал первый ручеёк.

Помяв пальцами папиросу, Иван Викторович весело прищурился.

— Смотрю я на вас: живёте вы, как птички. — Добрый, ласковый взгляд его остановился на Любке. — Так вот и порхали бы всю жизнь...

Школьницы засмеялись.

— Ни заботы, ни труда, — добавила Таня, отшучиваясь за всех.

— Нет, труд-то есть, а вот заботы, стремления... такого, знаете, большого, сильного стремления... — дедушка недовольно вскинул брови.

Подружки стушевались, попробовали загородиться неловкими остротами.

— Опасное дело, — Иван Викторович говорил серьёзно. — Очень опасное! Человек без больших стремлений, как птица без крыльев, — жалок и ничтожен... Вот одна из вас... так ска-ать,
не называя фамилии, говорит: зачёт тут жить? Тут дыра.

Подружки толкнули локтями Любку, та опустила глаза, покраснела. Иван Викторович на неё не глянул.

— Хочет уехать куда-нибудь. Искать то, чего не теряла. Что ж! Это, так ска-ать, не запрещается. Езжай!

Девочки опять засмеялись.

— Но вот ведь какая штука-то: бескрылую птицу куда ни отвези — она нигде не полетит. А я вам насчёт крылатых хотел рассказать. Какие чудеса творят эти люди, жизнь у них какая захватывающая.

— Про Дмитрия Максимыча?

— Ой, пожалуйста, Иван Викторович, расскажите. — Девочки усаживались поудобнее.

— Тоже ведь была деревня,— повернулся он к Тане.— Ещё хуже нашей. «Дыра», так ска-ать, самая дырявая. А что люди сделали! Американец какой-то летом приехал с дочерью. «История, — говорит, — начинает смеяться над нами. Мы становимся отсталыми и глупыми по сравнению с Советами». Вот как, а?

Девочки затихли. Они слышали пересказы взрослых о том, как Иван Викторович ездил летом в отпуск к Дмитрию Максимовичу Воронцу, своему старому другу. Запомнили даже, что Дмитрий Максимович с 1931 года работает председателем колхоза. Знаменитый у них колхоз, лет десять, если не больше, миллионы получает. Как поглядел дедушка это хозяйство — ни о чём больше и думать не хочет. В райкоме стали говорить про него, что товарищ Ласкин «заболел» тем колхозом.

Когда он рассказывает обо всём виденном, люди, между прочим, начинают удивляться, до чего тот колхоз крепко смахивает на их собственный, особенно по расположению садов и строений. Годочков несколько назад рассказчику, пожалуй, пришлось бы изрядно претерпеть от заковыристых реплик и попыток уличить его в фантазёрстве. А теперь в его рассказах не находят ничего фантастического. Их слушают, задумавшись, иные вздыхают.

— Может, и мы доживём...

Быстроглазые девчушки, конечно, не вздохнут. Юность! Кажется, весь мир создан для тебя! Легко ли променять его на небольшой уголок, особенно если уголок этот кажется «дырою»? На худой конец, избирается хороший

город. Не важно, чем заниматься, важно, чтобы в городе.

Так иной раз человек с юности остаётся без стремлений.

Ивану Викторовичу обидно смотреть на Любку и жаль её. Она сидит, запрокинув голову назад, и ловит лицом мягкое солнечное тепло. Должно быть, ждёт приятного рассказа, чего-нибудь в роде вводной беседы учителя о дальних странах или о горящем сердце Данко. Иван Викторович долго смотрит на неё.

— Ну, а вот вы сами... — щурится он, — можете вы себе, так скаать, представить, как живут в передовом колхозе? А, Люба?..

Любка открывает глаза.

— Ну, как? Хорошо, наверно, живут. Помногу получают...

Дедушка забавно хлопает себя по коленям и хохочет. Таня тоже смеётся:

— Помногу!.. По ведру лапши за раз!

Девчата живо повернулись к Любке: ничего себе завтрак!

Белый тугобокий петух, шагавший с курами по лужам, удивлённо квокнул и боком отступил от крыльца.

—- Та-ак... — насмешливо тянет дедушка. — Ну, а вот, к примеру, труд. Как там работают?

Таню разбирает охота острить по поводу ограниченности своих и Любкиных представлений. Она напускает на себя дурашливую ребячью солидность и чудит:

— О, работа — это, понимаешь, мощь! Законно работают!

Насмеявшись, все утихают. Иван Викторович отвлекается от окружающего, по лицу видно, что он весь в воспоминаниях и мечтах.

— Да... — улыбается он самому себе. — Там интересно всё это... На каждом шагу новое. Вот едем со станции. Солнце уже высоко. Гляжу: никого на улицах нет. «Спят, говорю, что ли до сих пор? Или на работе?» Дмитрий Максимович сам за рулём был, усмехается.

—Нет, — говорит, — просто все уехали на пляж. Водная процедура, так сказать. После сна каждому полагается.

— А как же работа? — спрашиваю.

— У кого, — говорит, — дежурство, тот, конечно, на работе — на фермах, в гараже.

У них, оказывается, очень всё складно устроено. На каждое рабочее место есть три-четыре работника. И вот они, значит, по сменам. Один работает, остальные отдыхают. Бывает по два, по три дня свободных. А дома-то делать нечего: никакого хозяйства ни у кого нет, там курицы не увидишь около дома; кушают все в столовой, стирает прачечная. Так вот, оказывается, самое у них хлопотливое дело — это не работу организовать, а отдых. Работа — что? Назначай — и пошло. А тут у каждого свои потребности, свои любимые занятия. И надо, чтобы соблюдался медицинский режим — чтобы зарядка обязательно, водная процедура, питание как следует, потом мёртвый час. За этим там строго смотрят. Врачи специально, сёстры. И в столовой, и на речке, когда купаются или там загорают. Следят! Молодцы.

Назначены часы для любимых занятий. Вот мне что больше всего понравилось! Посмотришь: кто живописью занимается — портреты разные пишут, картины; кто музыкой; там, глядишь, изобретатели собрались — маракуют что-то. Такие вот школьницы, как вы, чуть поменьше, цветы разводят. Каких только нет цветов! Всякие!.. Цветники около каждого дома. Знаете, глядел и не уходил бы! Насчёт спорта тоже — это каждому обязательно. Ежедневные тренировки, игры. Молодцы.

А есть ещё часы для чтения, для учёбы. Я-то и то привык. Скажут по радио: часы учёбы, тишина! — и так уж и хочется книжку взять и сесть куда-нибудь к столу. Хорошо. Там всё больше заочники. Кто в пединституте, кто в индустриальном, в сельскохозяйственном есть. А в последнее время, Дмитрий Максимович рассказывает, молодёжь самообразованием стала увлекаться. Вот бы вам-то обдумать это дело, а? Окончил человек десятилетку, начал работать пастухом там или шофёром. И хочется ему, к примеру, получше изучить Льва Толстого, хорошенько узнать, скажем, историю искусства, ну, что ещё?.. Ну, какую-то область техники. Что он делает? Он выписывает из библиотеки книги, какие ему надо, и занимается. Самостоятельная учёба. А ведь знаний всегда хочется иметь много. Всё хочется знать! И вот там ребятки — один перед одним!..

Я вам скажу, это такой развитой, такой интересный народ! Поговоришь со свинарками, официантками — просто не верится: такая культура во всём!.. Ходишь и удивляешься. Это жизнь, какою люди ещё не жили. Богатство душ! Человеку всё доступно, и он овладевает всем, чем успевает овладеть. Никогда ещё он так стремительно не шёл к совершенству! И он становится прекрасным, какой бы он ни был от природы. Прекрасным! Это венец и радость мира. Вы можете представить, как хорошо жить среди таких людей?

Глаза у девочек стали острыми, как свёрла.

— Это да-а.. — передохнула маленькая с печальными глазами подружка Тани. — Вот бы глянуть...

— Ну, ладно, Иван Викторович, а вот приехали вы, — заговорила Любка. — Ну и дальше? Как у них там всё? Улицы, дома?

Дедушка посуровел, видимо, от её «ладно», пожмурил глаза, но отозвался охотно:

— Про всё? Ну, с чего вам начать? С сада. Так же вот: выезжаешь из лесу — слева у них сад посажен. По всему склону вот так же тянется. Только годиков на пяток постарше нашего. Едем мы мимо. Машина открытая. Дмитрий Максимович убавил скорость. «Нет, говорю, ты остановись». Остановил, вышли мы. Дело летом, июль. Яблони нагружены тяжело. Обливные, как наша Танюшка скажет. Деревья молодые, им ещё непривычно быть такими грузными. Грация у них, знаете, ломкая, девичья. Сучья согнулись к земле. Смотришь и думаешь: налети так вот ветер — что тут будет! Ливень яблочный! А ряды и тянутся, и тянутся, далеко уходят — конца не видать. Вот богатство-то, а?.. Ну, ничего. Теперь скоро и наш подойдёт садик. Теперь уж скоро!

Громадный у них сад. Дмитрий Максимович — человек с размахом. Старый наш, революционный, так оказать, размах. У него помалу ничего не бывает. Если сад — то вон какой; если птицеферма — то всё поле белое от кур. Поросят в лагерях, как муравьёв. Коровы тоже. Какое стадо! А ведь недавно так же вот, как мы, всё тёлок растили. Потом как пошли эти тёлки в молочное стадо, как пошло молоко! Ну и другая, так ска-ать, продукция. По сто, по двести тысяч в день доходу берут! А? Много,

мало? В самый раз. Это вам и машины любые, и целые дворцы. Как думаете, далеко нам до этого?.. А я вам скажу: как постараться. Можно сделать, что и близко будет, а можно и так, что и вы не доживёте. Всё от нас самих зависит...

Иван Викторович ожидал возражений, но школьницы сосредоточенно молчали. Мир, до сей поры малоизвестный им, оказывался неожиданно близким и зовущим.

— Вот бы вам что посмотреть-то — их село! — оживился Иван Викторович. — Я у них не был годов девять. Что ж они за эти годы наделали! Прежнюю-то деревню я хорошо помню. А тут глянул из-за сада: нет деревни. Что такое? Виднеются в зелени какие-то белые дома, стеклянные веранды, балконы. Сочи — не Сочи, Железноводск — не Железноводск. Курортный городок какой-то. На площади дворец. Так же вот, как у нас, площадь, где школа. Дворец белый, как из снега. На площади сквер. Полукругом так сделан. Дорожки, аллеи, фонтан. Пригляделся я — вспомнил: сажали они деревца в сорок восьмом году. Сквер, дескать, будет. От коз их всё огораживали — маленькие саженцы были, так вот с Танюшку ростом... А мы свой когда разбивали? Комсомольские воскресники-то были? В пятьдесят пятом. Вот через годок-другой поглядим.

—Да он и в прошлом году уже здорово выделялся, — напомнила Таня. — Помнишь, Люба, осенью мы шли?..

Иван Викторович покивал им головой, подумал.

— Въехали мы в село. Ну, я уж говорил: пусто на улицах. Ни коз, ни поросят — совсем их, наконец, отделили от человека. Одни деревья да цветы. И печек никто не топит, дыму над крышами не видать. Гляжу: и трубы-то ни одной нету. «А зачем, — говорит, — они?— Это Дмитрий Максимыч. — Отопление центральное, электричество есть. Вот газ думаем проводить».

Больше всего я улицами любовался. Прямо как вымытые. Ни соринки, ни бумажки — асфальт, песочек и травка. Машины идут и то, кажется, наслаждаются такой чистотой и свежестью. Право... Мне, признаться, так походить захотелось по этим дорожкам! Походить, подумать... Вот как люди должны жить! Всё для отдыха; Чтобы человек не утомлялся от шума, от грязи, от всяких неудобств. В этом, так ска-ать, смысле каждая улица должна быть курортной. А? Конечно, здорово!

Да... Вышли мы из машины, слышим: песни где-то поют. Оказывается, это с купанья едут. Машины в цветах, на головах у девчат венки. Подъехали крепкие, загорелые все, весёлый народ! Только машины остановились, радио заговорило: «Пойте с нами!». Гляжу: люди расходятся по домам и поют под радио. Ко мне-то и то на целый день привязалась эта песня. Хожу и напеваю.

И вот, знаете, я даже почему-то удивился: как умно у них приспособлено радио. Надо кого-нибудь разыскать или к телефону подозвать — объявляют по радио. В столовую приглашают, объявляют порядок работы, занятия кружков, даже благодарности — всё по радио.

Перед завтраком разошлись все — кто переодеться, кто куда, а я всё любовался. Палисадники полны цветов, в сквере — тоже всё цветёт. Знаете, это какое-то царство красоты! И о ней каждый заботится. «Так, — говорит, — должно быть. А вот вы посмотрите, — говорит, — сколько народу приходит на занятия художественных кружков. Иные идут просто для того, чтобы научиться тонко понимать красивое».

Ну и действительно! Зайдёшь в квартиры, по правде сказать, ничего нет очень дорогого, но как всё удобно, красиво... И отдыхаешь, и радуешься.

В столовую зашли. Это, знаете, какой-то стеклянный храм. Две стены из стекла. Рамы такие двойные. Войдёшь — в зале кажется так же светло и просторно, как на площади; она видна там, дальше. Только совсем тихо и ветра нет. Сперва как-то теряешься: куда ты попал? Освоишься, начинаешь видеть скатерти. Весь зал белый от них. Потом замечаешь: спинки стульев блестят вокруг столов. Так они и уходят в глубь зала, куда то к площади. Надо сесть и ещё осмотреться, тогда разглядишь и картины на стенах, и большие фикусы, пальмы.

Признаться, проголодался я, в столовую мы вошли первыми. Между столами двигались какие-то девочки — меняли цветы. Две дежурные ходили в белых халатах, в накрахмаленных шапочках. Симпатичные такие, приветливые. Подошла одна:

— Что желаете?

Можно заказать всё, что хочешь, если ты здоров. Ну, если у тебя, скажем, с желудком непорядок, с почками,

тогда врач тебе назначит, что надо. Здоровые могут заказывать себе на завтра, что хочется, — это, пожалуйста, приготовят.

— Вот здорово! — обрадовалась Таня. — И какао можно, сколько хочешь?

Девчата прыснули.

— Ведро? — передразнил её дедушка. И объяснил мимоходом: — Там, брат, разнообразие на первом месте. И медицинские нормы. Сколько полезно, столько и полезло. Но не больше и не меньше.

Иван Викторович повернулся к солнышку и замолчал. Но девчата тоже молчали, и он понял, что они ждут ещё. Вспомнил, улыбнулся:

— Старик там один есть, Сергей Василич. Интересный старичок. С американцем всё «воевал». Американец с дочерью приехал. Весь отутюженный, гладко причёсанный, красивый, но до того бесцеремонный, — это беда. Видно, привык требовать от людей то, что ему хочется, и не обращать внимания, как это на них действует. А Сергей Василич хлопотун такой. «Мне, — говорит, — принадлежит монополия на очень заманчивое занятие: дарить свежесть цветам и газонам». Он в сквере там со шлангом орудует. Подъезжает к нему американец, а как раз никого не было — все на сенокос уехали. Подъезжает и говорит:

— Кто у вас главный? Кто вы?

Сергей Василич плечом пожал:

— Как вам сказать? Все мы тут в одном чине ходим — в чине человека. Председатель будет в обед.

Этот мистер отвернулся, — дескать, нечего с тобой и разговаривать — и бросил потухшую папиросу. Она упала на дорожку. А дорожка чистенькая, песком посыпана, окурок-то на ней — как бельмо на глазу. Сергей Василич сразу ему:

— Это уж, знаете, барство! За вами тут нету нянек убирать. Извольте сами.

А тот отвернулся и сидит, как истукан. Старичок рассерчал, хотел отчитать как следует. А потом подумал: может, это миссия какая-нибудь. Что значит отвыкнуть даже от мелкой житейской дипломатии! Конечно, в своём коллективе — там хитрить нечего. Там всё начистоту. Он уже много лет не замечал, чтобы кто-нибудь у них фальшивил перед людьми, или старался смолчать, когда надо сделать замечание. Поднял он эту папиросу, отнёс в урну и глядит из-за куста на приезжих.

«А может, — думает, — и не миссия, а просто приехали прощупать. Вон и фотоаппарат у девушки-то.,.»

Не знаю, чем бы дело кончилось, но тут Дмитрии Максимыч подъехал с лугов. Оказалось, это делегация какая-то. Потом-то уж Сергей Василич узнал и мне рассказывал. И поручили ему везде сопровождать этого американца. По-русски, негодник, говорил. Хоть и коряво, но понять можно. Сидит как-то на скамеечке около фонтана — это уж при мне — и рассуждает:

— Про-мышлен-ность!.. Нет, вы обратите внимание, какое у вас есть умное слово: промышленность. Промышлять... Мышление... А? Очень хорошо.

Сергей Василич ему:

— Не только слово есть, мистер, а и сама промышленность имеется. Олл райт промышленность, дай бог всякому.

—О, да, — говорит. — Но вообще вы многому у себя не знаете цены.

Оценил, значит!

Привёл их старичок в столовую, начал объяснять, что и как.

—Прошу, — говорит, — заметить, что самое наиглавнейшее у нас начальство — это врач. И есть первая заповедь: слушайся и повинуйся доктору, ибо ты не враг самому себе.

Мистер натопорщился:

— И тут диктатура?

— Обязательно. В этом доме найдут, как вас заставить жить сто пятьдесят лет.

— А сто пятьдесят граммов тоже найдут?

Сергей Василич опешил, но нашёлся:

— Оставь, — говорит, — надежду всяк, сюда идущий. Есть, знаете, удовольствия куда более сильные и тонкие, чем это! Человечество и половины их ещё не знает, а другую половину не использует. Когда вы, например, утром встаёте?

— Примерно, — говорит, — в восемь.

Сергей Василич и глаза вытаращил:

О, варвары! Утро. Раннее утро. Красота и здоровье! Воздух... Это же наслаждение. Что вы, в восемь! Отрекайтесь. Вечер и полдень — самое неинтересное

время. Вот и спите себе. А раненько утречком... всё просыпается... Птицы поют, воздух лёгкий, целебный. Тут вам по радио: «С добрым утром», дадут урок гимнастики. Разомнёшься — душа в тебе соловьём заливается. Потом забежишь, стаканчик-другой простоквашки этак пропустишь и — на прогулочку. Водные, значит, процедуры, солнечные ванны, по лесу побродить... Начнёшь, говорит, потом работать — как будто тебе восемнадцать лет...

Нет, напрасный труд. Сперва вроде согласились, а пришёл он наутро будить этого мистера — где там! Хоть за ноги тащи. Да... Часто спорили. Дочь этого мистера спрашивает как-то:

— А можно у вас не работать? Что вас заставляет? Дисциплина?

Ну, старичок ей ловко ответил:

— Нуждишка, — говорит, — окаянная!

Девушка даже сама засмеялась.

— Вы шутите, — говорит. — Если у вас всё и так даётся...

— Всё, да не всё! — Сергей Василич это им. — Самого главного вы не найдёте ни на одном складе, ни в одной аптеке. Нипочём!

— Не понимаю.

— То-то и видно. Удовлетворением называется. Удовлетворение от того, что ты живёшь. Попробуй получи сложа руки. Нету таких складов!

Он им здорово доказывал. Записывают! А один раз в баню мистера повёл. Ну, культурные люди, все честь честью.

— Только, — говорит, — смотрю я, что ж такое? Открыл мистер душ, а сам в сторонке не спеша намыливает губку. Старик — к нему: зачем, дескать, зря воду лить? Так тот даже не понял, о чём речь! Оно, конечно, и мы не считаем, сколько тазов воды на себя расходуем. Но каждый как-то привык чувствовать меру и лишнего не выльет. Вот это и есть истинная коммунистическая бережливость, когда бережёшь невольно. А тут Сергей Василич просто отчаялся.

— Чёрт побери! — говорит. — Да как же воспитывать таких людей? Он ведь решительно ничего не понимает! Говорит: «Какая вам разница, я уплачу». У нас дети и те понимают!..

Иван Викторович молча кивнул головой, дескать, так-то вот. Опять заговорил уже будто с самим собой: — Не хотелось мне уезжать. Но как

в гостях ни хорошо, а домой надо собираться. Тут как раз кончились дожди — дня три шли, и начиналась в колхозе жатва. Утро было чистое. Птицы!.. Такой хор... Кажется, всё небо поёт, вся земля. А по радио с самого завтрака — марши. Прямо как перед началом торжества. Будто Первое мая наступило. Подъём у всех такой. Дмитрий Максимович говорит:

— А это у нас и есть самые красивые праздники: уборка и сенокос. Тут уж все выходят.

Помню, к обеду поля обсохли, и вот тебе над селом изо всех репродукторов фанфарный марш. Пора начинать! Глядим; по всем дорогам двинулись жатки, комбайны, люди. Действительно, как праздник!.. Да так и должно быть: труд — это самая великая радость на земле.

Гляжу: всё дело себе находят. Стоим мы около гаража, мать кричит мальчику:

— Гена, пригони сюда трактор, вон механик его завёл.

Вроде как гусей пригони или телёнка!..

Мальчишка — во все лопатки. Подбежал, вскарабкался на гусеницу, пешком вошёл в кабину. Да, да, смешно, забавно: пешком! И исчез. Будто провалился в трактор. Гляжу, из трубы выбросило дым, гусеницы дёрнулись, побежали. В кабине никого не видно. Как по щучьему велению трактор шёл. Этак, знаете, ловко придержал одну гусеницу, свернул на обочину и помчался. Эх, как же он, разбойник, красиво развернулся около матери! Прямо, как нарисовал. Выпрыгнул из кабины и не улыбнулся, только ладошки отряхнул. Ах, ты, разбойник, а!..

А ты говоришь: деревня, «дыра». — Иван Викторович встал, Таня подошла к нему, за нею другие, он обнял их, и они долго стояли так, взволнованно глядя за речку.

Давно прилетели ласточки, запушился зеленью лес. По вечерам на болоте устраивают свои сумасшедшие концерты лягушки.

В воскресенье с утра до вечера Иван Викторович со старшеклассниками пропадал в саду. Пришли оттуда все обрызганные известью и парижской зеленью. Это был последний день весенних работ в саду.

Девчата остановились с дедушкой у крыльца, оглянулись на сад.

— Зацветает, — мечтательно обронила Любка.

Дедушка поглядел на неё с такой благодарностью, будто она обещала вечно беречь и лелеять этот сад.

Ночью гремел гром, шёл дождь — тёплый, тихий. К утру он перестал, небо очистилось. Когда взошло солнце, Иван Викторович загремел дверями, растормошил ребят и полусонных вытащил на улицу:

— Гляньте, что!.. Гляньте...

Он показывал за речку. Там, на пригорке, на котором вчера зеленели яблони, сейчас громоздились пышные, как облака, вороха снега.

Таня вскрикнула:

— Помёрзло!..

Но испуг сменился радостью: никогда ещё так не было за рекой. Цвёл весь сад! Солнце, кажется, без памяти радо было чупахаться в этом море розовой пены.

— Цветёт... И наш цветёт!.. — Иван Викторович повторял одни и те же слова и всё гладил Таню с Петькой по плечам и по головам. Ветхая бородка его растрепалась на ветру, лицо он зачем-то прятал от внуков, а потом прихлебнул ртом, замолчал и уже перестал отворачиваться. Он плакал...

Калуга, 1958 г.

Иван Семёнович Синицын

„Нехожеными тропами"

* * *

Редактор *И. М. Богданов*
Художеств, редактор *А. В. Пелипенка*
Художник *Н. А. Ращектаев*
Техн. редактор *Н. И. Иванов*
Корректоры *Л. М. Ковлер, А. А. Лысак*

Оцифровано для страницы
Педагогического музея А.С. Макаренко
(Makarenko-museum.ru)
Нумерация страниц и разбиение текста по ним
с точностью до 1-2 слов на границах страниц
соответствует бумажному тексту книги

Б00872 Сдано в набор 26/II 1958 г. Подписано к печати 16/IV 1958 г.
Изд. 29 Формат бумаги 84×108 1/32 2,875 бум. л. 8,81 п. л. Уч.-изд. л. 10
Цена 4 р. 50 к. Тираж 5000 экз. Зак. 645.
Калужская типография областного управления культуры, пл. Ленина, 5.